

Море ПОМНИТ

Инна Зименкова

История

Инна Зименкова

Море помнит

«Автор»

2026

Зименкова И.

Море помнит / И. Зименкова — «Автор», 2026

Журналист Илья приезжает в глухой приморский посёлок, чтобы выяснить правду о пропавших рыбаках. Местные молчат. Море здесь говорит голосами умерших и каждые десять лет забирает новую жертву. До пика прилива осталось шесть дней. Чтобы выжить, Илье придётся решить, что страшнее — услышать зов из глубины или навсегда забыть тех, кого любил.

© Зименкова И., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Прилив	5
Глава 2. Голос на отмели	8
Глава 3. Яма	15
Глава 4. Архив Келлера	21
Глава 5. Вторая экспедиция	29
Глава 6. Счёт	35
Глава 7. Пленники	41
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Инна Зименкова

Море помнит

Глава 1. Прилив

Автобус высадил его на пустой трассе, у покосившегося указателя с выцветшими буквами «Мшага». Водитель, угрюмый мужик в застиранной фуфайке, долго отказывался сворачивать к посёлку — мол, дороги там считай что нет, разобьёт подвеску. Илья выторговал ровно три километра: дальше, сказал водитель, «только пешком, и не по своей воле».

— Что значит «не по своей»?

Но двери уже сложились с шипением, и автобус, качнувшись, уполз в серую морось.

Илья поправил рюкзак, в котором лежал диктофон, потрёпанный блокнот и распечатки из архива — всё, что он успел накопать в областном центре за двое суток. Редактор, старый приятель Виктор, когда давал задание, криво усмехнулся: «Сгоняй, развейся. Материал, может, и не пойдёт, но хоть воздухом морским подышишь». Илья тогда не придавал значения этой усмешке. Теперь, шагая по разбитому асфальту вдоль чёрного леса, он начинал понимать: Мшага была не просто командировкой. Виктор что-то знал. Или, наоборот, чего-то боялся и хотел сплавить Илью подальше.

Дорога действительно умерла через полчаса ходьбы. Асфальт кончился, началась глина, изъеденная глубокими колеями. Слева тянулся хвойный лес — высоченные ели смыкали лапы над головой, превращая день в сумерки. Справа угадывался обрыв, за которым глухо дышало море. Илья не видел воды, но чувствовал её — холодную, тяжёлую, будто бы наблюдающую.

Он поймал себя на этом слове и тут же мысленно одёрнул: брось, репортёр. Ты в командировке, а не в дешёвом хорроре.

Но когда из-за поворота показался сам посёлок, внутренний цинизм дал трещину.

Мшага лепилась к скалистому берегу, как лишайник к мёртвому дереву. Серые дома с просевшими крышами, заколоченные окна, ржавый кран заброшенного рыбацкого пирса — всё выглядело так, будто люди ушли отсюда внезапно и очень давно. Илья знал из справок: посёлок жилой, прописано около двухсот человек. Но дым не шёл ни из одной трубы. Собаки не лаяли.

— Есть кто? — крикнул он в пустоту улицы.

Тишина. Потом скрипнула дверь в самом дальнем доме, и на крыльцо вышел старик.

Он был высок, неестественно прям для своего возраста, в тёмном бушлате нараспашку, под которым виднелась тельняшка. Лицо — словно вырезанное из коры: глубокие складки, острый нос, выцветшие глаза. Старик молча смотрел, как Илья подходит, и не двигался с места.

— Здравствуйте. Меня зовут Илья Соболев, я журналист из Петербурга. Мне бы переночевать где-нибудь и поговорить с местными.

Старик медленно перевёл взгляд на его рюкзак, потом на лицо.

— Журналист, — повторил он без интонации. Голос оказался низким, с хрипотцой, как будто говорил человек, привыкший кричать сквозь ветер. — О чём писать будешь?

— О море, — осторожно ответил Илья. — О людях. Говорят, у вас тут истории интересные.

Старик коротко, безрадостно усмехнулся:

— Истории. У нас тут не истории. У нас тут память.

Он развернулся и пошёл в дом, оставив дверь открытой. Илья, поколебавшись, шагнул следом.

Внутри пахло солью, старым деревом и чем-то ещё — сладковатым, как сушёные водоросли или разогретый воск. Единственная комната была обставлена по-спартански: печь, стол, два стула, застеленная кровать в углу и книжный шкаф, набитый не книгами, а какими-то свёртками, банками и коробками. Над столом — керосиновая лампа.

— Меня Егором Макарычем кличут, — сказал старик, усаживаясь к столу. — Я тут за старшего. Формально. Хотя командовать некем.

— Как это? По документам в Мшаге почти двести жителей.

— По документам — да. Только документы одно, а жизнь другое. Молодёжь вся в город подалась ещё в девяностых. Остались старики да те, кому деваться некуда. После прошлого раза — почти никого.

— После прошлого раза? — Илья мгновенно насторожился, выхватив диктофон.

Макарыч покосился на прибор, но ничего не сказал. Поднялся, подошёл к шкафу, долго рылся на верхней полке. Вернулся с толстой тетрадью в клеёночной обложке. Положил перед Ильёй, но не открыл, а прижал к столу сухой, узловатой ладонью.

— Ты вот что, парень. Жильё я тебе дам — дом на отшибе пустует, сосед там не помещает. Но прежде чем ты начнёшь свои расспросы, ответь: зачем тебе это на самом деле?

Илья выдержал его взгляд.

— Девять дней назад в Мшаге пропали трое рыбаков. Лодку нашли пустой, тела — нет. Я поднял сводки: за последние сто лет здесь исчезли без вести сорок два человека. И самое странное — пропажи идут волнами, каждые десять-двенадцать лет. В один и тот же месяц. Местные власти спускают на тормозах, пресса молчит. Я хочу понять почему.

Макарыч молчал долго. Илья уже решил, что старик откажется говорить, но тот вдруг пододвинул к нему тетрадь.

— Здесь дневник моего прадеда, смотрителя маяка. Ты читай пока, а я скажу главное. То, о чём не пишут в газетах и чего нет в твоих сводках. — Он зажёл лампу; жёлтый свет закачался на стенах. — Море у нас не простое. Оно берёт. И сейчас, прямо сейчас, оно снова просыпается. Девять дней до большого прилива. Ты приехал в самое время, журналист.

Он развернулся к окну, за которым тяжело ворочалась свинцовая вода.

— Только не говори потом, что я не предупреждал.

Илья включил диктофон.

В доме на отшибе, куда проводил его Макарыч, было холодно, но сухо. Илья растопил печь найденными в сарае дровами, поставил чайник и раскрыл тетрадь. Страницы пожелтели, чернила выцвели, но почерк был ровный, старательный, с завитками на заглавных буквах.

«Мшага, октябрь 1903 года. Сегодня море впервые заговорило...»

Илья не заметил, как за окнами стемнело. Он читал, забыв о чае, забыв о времени. Дневник обрывался на полуслове — за пятнадцать страниц до конца тетради. Последние листы были вырваны с мясом.

Кто-то постучал в дверь.

Илья вздрогнул. Часы показывали половину первого ночи. Он взял фонарь, подошёл к двери, приоткрыл.

На пороге стояла девушка. Лет двадцати, в потёртой штормовке, с растрёпанными светлыми волосами, в которых запутались капли мороси. Она тяжело дышала — видно, бежала.

— Вы журналист? Из города? — спросила она быстро, глотая слова.

— Да, я...

— Я Настя. Дочь старосты. Ну, Макарыча. Он вам, наверное, уже наговорил всего. — Она поморщилась, но не от холода. — Послушайте, я не могу долго объяснять. Просто... не ходите завтра к маяку. Особенно на закате. И если услышите в воде голос — ради бога, не отвечайте.

— Какой голос?

Но она уже отступила в темноту, и только её силуэт мелькнул на фоне мокрых досок забора.

— Я слышу его, — донеслось из дождя. — Оно зовёт по имени...

И тишина.

Глава 2. Голос на отмели

Илья почти не спал. Тетрадь так и осталась лежать на столе — открытая на той странице, где ровный почерк смотрителя маяка обрывался, уступая место неровному краю вырванных листов. Керосиновая лампа давно погасла, но Илья не заметил, когда именно: он сидел в темноте, прислушиваясь к дому.

Дом дышал. Нет, это не метафора — бревенчатые стены то едва заметно раздавались, то сжимались обратно, будто грудная клетка спящего великана. Где-то на чердаке поскрипывало, но не беспорядочно, а с ритмичностью, напоминавшей шаги. Медленные, тяжёлые — от дальней стены к лестнице и обратно.

Илья заставил себя подняться. Достал из рюкзака налобный фонарь, включил на минимум — узкий луч выхватил пыльные половицы, печь с остывшими углями, старый шкаф. Шкаф был приоткрыт. Илья точно помнил, что проверял его, когда только вошёл: пустой, пахнет мышами и сухой пылью. Сейчас из щели между дверцами свисало что-то тёмное, похожее на обрывок ткани.

Он шагнул ближе. Ткань оказалась куском старой рыболовной сети — жёсткой, пропитанной чем-то чёрным, что не было грязью. Сеть пахла морем, но не тем морем, которое он знал с детства — солёным, йодистым, живым. Этот запах был сладковато-гнилостным, как от воды, застоявшейся в трюме мёртвого судна.

Илья отдернул руку. Сеть мягко сползла на пол, и ему показалось, что в тишине кто-то едва слышно выдохнул — прямо у него за спиной. Он резко обернулся, направив луч в темноту. Никого. Только его собственное отражение метнулось в мутном стекле окна.

«Хватит, — сказал он себе, сжимая зубы. — Это просто старый дом. В старых домах всегда скрипит».

Но дневник он закрыл.

Утро пришло серым и невыразительным. Дождь перестал, но небо оставалось затянутым плотной пеленой, сквозь которую солнце не пробивалось — только разливался по горизонту мутный белёсый свет. Илья вышел на крыльцо, едва сдерживая зевок, и первым делом оглядел дом снаружи. Никаких следов на мокрой земле. Если кто и приходил ночью, то дождь успел смыть всё до единого отпечатка.

Он зашагал по единственной улице в сторону дома Макарыча, попутно отмечая детали, которые вечером ускользнули от внимания. Посёлок производил впечатление не просто заброшенного, а словно бы выпотрошенного. Нигде не было видно привычных деревенских мелочей: покосившихся заборов с накинутой для просушки тряпкой, детских игрушек, забытых у калитки, инструментов, оставленных после работы. Дома стояли голые, будто их намеренно лишили любых признаков жизни.

В одном из дворов он заметил лодку — старую, рассохшуюся, перевёрнутую вверх дном. Подошёл ближе. На днище кто-то вырезал ножом ряд значков: вертикальные чёрточки, круги и нечто вроде спирали, уходящей в центр. Не буквы, не цифры. Скорее, счёт. Или заклинание.

Он сфотографировал лодку на телефон. Связи не было — ни одной полоски, даже экстренные вызовы не проходили.

В доме Макарыча топились печи. Сам старик сидел на том же месте, что и вчера, и чистил рыбу — длинным ножом, с каким-то автоматическим, неживым спокойствием. Чешуя летела на газету, разложенную на столе. Рыба была странная: плоская, с неестественно большими глазами и зубастой пастью, не похожая ни на одну из промысловых пород, которые знал Илья.

— Глубоководная, — бросил Макарыч, не поднимая головы. — Иногда всплывает перед большим приливом. Есть не советую.

— Почему?

— Потому что она сама тебя ест. Изнутри. — Старик наконец посмотрел на Илью, и в его выцветших глазах промелькнуло что-то вроде угрюмого веселья. — Шучу. Не ест. Просто горькая, как полынь.

Илья сел на табурет, стараясь не смотреть на рыбы внутренности, которые Макарыч выгребал на газету точными, скупыми движениями.

— Расскажите мне про маяк, — сказал он.

— А что про него рассказывать? Стоит. Лет сто пятьдесят уже. Сейчас-то не работает — да и кому он нужен, когда суда в эту бухту не заходят.

— А раньше заходили?

— Раньше много чего было. — Макарыч отложил нож и вытер руки о тряпку. — Ты дневник читал?

— Начал. Там не хватает последних страниц.

— Знаю. Я сам вырвал.

Пауза повисла в воздухе, плотная, как дым от печи. Илья ждал.

— Мальчишкой был, — нехотя продолжил старик. — Любопытный, дурной. Решил, что раз прадед чего-то не дописал, значит, я сам докопаюсь. Взял лодку, поплыл к маяку в одиночку. Нашёл там кое-что, чего мне видеть не следовало. И страницы эти... я их сжёг.

— Что вы нашли? — Илья подался вперёд.

— Время придёт — узнаешь. — Макарыч бросил взгляд на окно, за которым по-прежнему висела серость. — А пока что держись подальше от воды после заката. Настя, поди, уже предупредила?

— Предупредила.

— И правильно сделала. Она у меня умница. Только слушается не всегда. — Старик поднялся, давая понять, что разговор окончен. — Иди пока. Поговори с людьми. Может, кто и раскроется тебе. Только не удивляйся, если ответы тебе не понравятся.

Люди в Мшаге всё-таки были. Илья насчитал семь жилых домов, из которых тянуло дымом; ещё в трёх теплился свет, хотя трубы оставались холодными — наверное, обогревались электричеством от старого дизель-генератора, который тарахтел где-то на окраине. На улице ему встретилась пожилая женщина в застиранном платке. Она несла ведро с водой и, увидев Илью, замерла, будто наткнулась на привидение.

— Здравствуйте, — начал он как можно мягче. — Я журналист, пишу о жизни в прибрежных посёлках. Не согласитесь уделить мне пару минут?

Женщина мелко перекрестилась и, не сказав ни слова, торопливо свернула в проулок.

Следующей была девочка лет двенадцати. Она сидела на крыльце и рисовала палочкой на земле — всё те же спирали, что и на лодке.

— Привет. Как тебя зовут?

Девочка подняла глаза. Они были серые, очень светлые, почти прозрачные, и смотрели сквозь Илью, будто он был пустым местом.

— Ты нездешний, — сказала она без вопросительной интонации.

— Да. Я из Петербурга.

— Там есть море?

— Есть. Финский залив.

— Оно говорит?

Илья почувствовал, как холодок пробежал по спине, хотя день не был холодным.

— Море не умеет говорить.

— Умеет, — возразила девочка всё так же ровно. — Просто не все его слышат. Настя слышит. Бабка Марфа слышала, пока жива была. Дед Егор тоже слышит, только он не признаётся.

— А ты?

— Нет. Я ещё маленькая. Оно приходит к тем, кому исполнилось семнадцать.

Она вернулась к своему рисунку, и Илья понял, что больше ничего не добьётся. Он пошёл дальше, ощущая между лопатками липкое чувство тревоги, которое не рассеивалось, даже когда он напоминал себе, что разговаривал всего лишь с ребёнком, а у детей богатое воображение.

Ближе к полудню ему удалось найти двоих более-менее контактных жителей. Первым был пожилой рыбак по имени Степан — крепкий мужик лет шестидесяти с обветренным лицом и татуировкой якоря на предплечье. Он согласился поговорить при условии, что Илья не включит диктофон.

— Тех троих, что пропали, я знал, — начал Степан, когда они сидели на перевёрнутой лодке у пирса. — Хорошие мужики. Опытные. Не первый год в море ходят. И в тот день ничего не предвещало — погода тихая, вода спокойная. Они на «Казанке» пошли, мотор исправный, сети проверить. К вечеру должны были вернуться. Не вернулись.

— Лодку нашли?

— Нашли. Через два дня. Её прибило к отмели возле маяка. Пустая, но целая. Мотор заведён. Сети на месте. Как будто они просто... вышли. В воду. Все трое одновременно. — Степан сплюнул в песок. — И вот что странно: вещей их на лодке не было. Ни курток, ни сапог. Только удочки.

— Может, упали за борт?

— Все втроём? И лодка не перевернулась? — Рыбак покачал головой. — Нет, парень. Тут другое. Море их забрало. Как и всех остальных.

— Вы верите в это? В то, что море «забирает»?

Степан долго молчал, глядя на свинцовую воду. Потом нехотя заговорил снова, уже тише:

— У нас в Мишаге каждый знает. Раз в десять-двенадцать лет — обязательно. Иногда по одному, иногда сразу по несколько человек. Местные, приезжие — без разницы. Я сам сорок лет назад чудом остался жив. Мы тогда с братом ушли на промысел в одно и то же место, но я в последний момент решил повернуть — просто почувствовал что-то, понимаешь? Брат не повернул. Больше я его не видел.

— И никто не пытался разобраться? Полиция, учёные?

— Приезжали. Два раза. Первый раз — в шестидесятых, какие-то люди из академии наук. Ставили приборы, измеряли что-то. Через неделю свернулись и уехали. Второй раз — в конце девяностых, уже журналисты. Один из них пропал. Двое других сбежали той же ночью, даже вещи не собрали. Никаких статей потом не вышло.

— А что они говорили? Те, что сбежали?

Степан усмехнулся невесело:

— Ничего. Просто кричали. Один, говорили, всё повторял: «Оно не должно говорить, оно не должно говорить». Но это слухи. Сам понимаешь — слухи.

Илья понимал. Он сам был журналистом и знал цену слухам. Но отчего-то ему казалось, что в этот раз слухи ближе к правде, чем все отчёты, которые он раскопал в архиве.

Вторым собеседником оказался мужчина помоложе — лет сорока, небритый, с воспалёнными глазами. Его звали Павел, и он был единственным, кто согласился говорить на диктофон.

— Я здесь пять лет живу, — сказал он, нервно затягиваясь сигаретой. — Приехал после того, как жену похоронил. Думал, отсижусь в глуши. А оказалось, здесь глушь сама в тебя залезает.

— В каком смысле?

— Ты ночью уже слышал? — Павел бросил на него быстрый взгляд. — Нет? Значит, ещё услышишь. Часа в три ночи — самое оно. Вроде как кто-то зовёт. Издалека. Не разобрать слов, но интонация такая... просящая. Будто помочь просит. И голос обязательно похож на кого-то из близких. У меня — на жену. Я первые три раза выходил. К берегу бежал, как дурак. Но там никого. Только вода. И запах.

— Запах?

— Сладкий. Как падаль.

Илья вспомнил сеть в шкафу и усилием воли подавил желание перекреститься, как та старуха.

— Почему вы не уезжаете?

Павел докурил до фильтра, щелчком отправил окурок в грязь и долго не отвечал.

— Потому что уезжать поздно. Меня уже слышат. А тебя, парень, ещё нет. Может, пронесёт. Уезжай сегодня, пока не поздно.

— Почему вы так говорите?

— Потому что Настя к тебе приходила. А она просто так ни к кому не ходит.

После этого разговора Илья долго стоял на берегу, глядя на отмель. Маяк виднелся в стороне, метрах в трёхстах от береговой линии — высокая каменная башня с давно погасшим фонарём на вершине. Во время отлива к нему можно было пройти по узкой полосе песка и камней, но сейчас начинался прилив, и подходы уже заливало водой.

Надо было идти сейчас или ждать до завтрашнего утра.

Он пошёл сейчас.

Песок под ногами был плотный, утрамбованный волнами, но чем ближе к маяку, тем мягче становилась почва. Илья несколько раз проваливался по щиколотку в ледяную кашу из песка и водорослей. Ботинки промокли насквозь почти сразу. Он упрямо шёл вперёд, стараясь не смотреть на воду справа от себя — слишком уж она была спокойной. Ветра не было, но поверхность моря не была гладкой: по ней то и дело пробегала рябь, словно под водой двигалось что-то большое и медлительное.

Маяк встретил его запахом соли, плесени и старого металла. Железная дверь, проржавевшая понизу, оказалась приоткрыта. Илья протиснулся внутрь и оказался в круглом помещении первого яруса. Вдоль стен тянулась винтовая лестница, уходящая вверх; ступени были каменные, стёртые сотнями шагов. Под лестницей темнел провал — видимо, вход в подвал или технический колодец.

Он включил фонарь на полную мощность и начал осмотр.

На стенах кто-то писал. Но это были не современные граффити — надписи наносились в разное время, разными руками и, судя по стилю, в разные эпохи. Самые старые, почти стёртые, были сделаны углём или чем-то похожим и напоминали церковнославянскую вязь. Над ними — карандаш, чернила, даже шариковая ручка. Имена. Даты. Обрывки фраз.

«Помилуй нас, Владычица морская». «1903 — отец и братья, трое». «Не отвечай на голос». «1935. Господи, почему ты оставил нас». «Говорит только на закате». «Если услышишь своё имя — беги, не оглядываясь». «Следующий — 1968. Кто?» «Не спи на берегу». «Она приходит из ямы». «2008. Серёга и дядя Коля. Простите».

Илья фотографировал каждую надпись, чувствуя, как внутри холодеет. Это был не просто маяк. Это был склеп памяти — место, куда поколения жителей Мшаги приходили оставлять свидетельства о том, что с ними происходило. И ни одно свидетельство не было радостным.

У подножия лестницы, там, где темнел провал, он заметил более свежую надпись — кажется, сделанную фломастером. Почерк был неровный, торопливый, буквы прыгали:

«Настя, не ходи к воде. Я тебя прошу. Мама».

У Ильи перехватило горло. Значит, мать Насти тоже слышала голос. И, судя по тому, что дочь теперь предупреждает об опасности чужаков, сама она эту опасность не пережила.

Он заставил себя заглянуть в провал. Луч фонаря выхватил уходящие вниз ступени, залитые чёрной водой. Глубина терялась в темноте. Оттуда тянуло холодом и всё тем же сладковатым запахом. Илья прислушался — и ему показалось, что из глубины доносится слабый, едва различимый звук. Не голос, нет. Что-то механическое. Как будто там, под водой, работал какой-то древний, неисправный механизм: скрежет, мерное постукивание, шипение.

Он отступил назад. Идея спуститься в подвал отпала сама собой.

Лестница вверх сохранилась лучше. Илья поднимался осторожно, проверяя каждую ступень перед тем, как перенести вес. Стены были исписаны и здесь, но надписей становилось меньше: видимо, не все, кто приходил, забирались так высоко. На втором ярусе он обнаружил комнату смотрителя — крошечное помещение с остатками железной кровати, проржавевшим умывальником и столом, привинченным к стене.

На столе лежала книга. Не тетрадь — настоящая книга в кожаном переплёте, разбухшем от влаги.

Илья открыл её с предельной осторожностью. Страницы слиплись, но часть текста сохранилась. Это был судовый журнал — не маяка, а какого-то судна. «Барк «Надежда», порт приписки Архангельск, 1891 год». Записи велись сначала по-русски, потом — на смеси русского и какого-то другого языка, которого Илья не знал, но который смутно напоминал норвежский или датский. Последняя запись, сделанная прыгающим, почти нечитаемым почерком, гласила:

«Команда слышит голоса. Капитан не верит. Я больше не могу молчать. Мы нашли его логово, оно под маяком, оно древнее, чем сама земля. Оно говорит на всех языках сразу. Я запечатал вход. Прости меня, Господи. Дай мне силы не отвечать».

Дальше — клякса. И всё.

Илья захлопнул книгу. Сердце стучало где-то в горле. Он сунул находку в рюкзак, хотя понимал: по-хорошему, такие вещи трогать нельзя. Но профессиональное любопытство, усиленное тем жутким, завораживающим чувством, которое охватывает человека на пороге страшной тайны, оказалось сильнее.

Он поднялся на верхнюю площадку. Здесь когда-то горел маячный огонь — теперь только ветер гулял сквозь разбитое стекло фонаря. Илья вышел на галерею и посмотрел вниз.

Море изменилось. Оно потемнело, хотя закат ещё не начался, и по его поверхности шла крупная зыбь. Отмель, по которой он пришёл, полностью скрылась под водой. Маяк превратился в остров.

И тут он услышал.

Сначала это был просто звук — низкий, протяжный, похожий на гудение басовой струны. Он шёл не снаружи, а словно бы изнутри башни, пронизывая камень насквозь. Потом звук начал меняться, модулироваться, и Илья с ужасом понял, что это голос.

Голос был женский. Тихий, ласковый, до боли знакомый.

— Илюша...

Он замер. Пальцы вцепились в ржавые перила так, что костяшки побелели.

— Илюша, помоги мне. Мне страшно.

Голос его матери. Умершей девять лет назад.

Он знал, что это обман. Знал — потому что читал надписи на стенах, потому что говорил с Павлом, потому что Настя предупреждала. Но каждое слово падало в сознание, как камень в воду, и расходилось кругами боли. Он слышал интонации, которые не смог бы воспроизвести ни один имитатор: лёгкая шепелявость на шипящих, чуть растянутые гласные, особый, только её смех, когда она говорила его имя — не «Илья», а «Илюша».

Голос доносился снизу. Из провала.

Илья закрыл глаза. Зажал уши ладонями. Стал считать до ста.

На счёте «сорок семь» он понял, что голос не исчез. Он звучал не снаружи — он шёл изнутри, прямо в голову. Мать звала его. Просила спуститься. Говорила, что ей одиноко, что здесь темно и сыро, что она замёрзла, что если он её любит...

— Ты не моя мать, — сказал он вслух. Голос сорвался, получилось жалко.

На мгновение наступила тишина. А потом голос изменился. Женские интонации исчезли. Новый голос был мужским, низким, вибрирующим. Он произнёс одно слово:

— Спускайся.

И что-то в этом слове было такое, что Илья сделал шаг к люку. Просто потому, что не сделать его было невозможно — как не дышать. Ноги двигались сами. Он смотрел на них сверху, как зритель, и не мог остановить.

Остановила боль. Он споткнулся о порог люка и ударился плечом о косяк — резко, до вскрика. Физическое ощущение на секунду перебило наваждение. Илья упал на колени, схватился за ушибленное место и изо всех сил сосредоточился на боли — реальной, осязаемой, принадлежащей только ему.

Голос замолчал. Море за окнами маяка снова стало просто морем.

Он сидел на холодном камне, тяжело дыша, и боялся пошевелиться. Прошло несколько минут, прежде чем он рискнул открыть глаза. Вокруг было тихо. Только ветер свистел в разбитом фонаре да где-то внизу мерно плескалась вода.

Сил подняться на ноги не было. Он так и сидел, прислонившись спиной к стене, пока не начало темнеть.

Прилив начал отступать. Илья дождался, пока вода уйдёт достаточно, чтобы можно было пройти по отмели обратно. Выбрался из маяка, не оборачиваясь, и пошёл к посёлку, шатаясь от усталости и нервного истощения.

На полпути его встретила Настя. Она стояла на берегу, закутавшись в ту же штормовку, и вглядывалась в сумерки. Увидев Илью, она не сказала ни слова — просто взяла за руку и повела за собой. Рука у неё была холодная и очень спокойная.

— Слышал? — спросила она, когда они подошли к его дому.

— Слышал.

— Ответил?

— Нет.

Настя коротко выдохнула — то ли с облегчением, то ли с удивлением.

— Ты один из немногих, кто не ответил с первого раза. Может, и правда получится.

— Что получится?

— Выжить. — Она отпустила его руку. — Завтра я покажу тебе то, что видела мама. Готовься. Будет страшно.

И ушла в темноту, прежде чем он успел спросить, что именно она имеет в виду.

Илья зашёл в дом, запер дверь на засов, задёрнул шторы. Проверил шкаф — пусто. Достал судовой журнал, положил на стол, но открывать не стал. Вместо этого сел на кровать и долго смотрел на стену, пытаясь понять, что именно произошло на маяке. Гипноз? Инфразвук? Массовое помешательство, растянувшееся на полтора столетия? Или то, о чём писал смотритель маяка, — нечто древнее, живущее под водой, умеющее говорить голосами мёртвых?

Научные объяснения таяли одно за другим. Оставалось только принять факты такими, какими они были: море действительно говорит. И оно говорит с ним.

Он взглянул на часы. До большого прилива, о котором говорил Макарыч, оставалось восемь дней.

Глава 3. Яма

Настя пришла, как обещала, до рассвета.

Илья открыл дверь и не сразу её узнал: вчерашняя растрёпанная девушка в штормовке исчезла, уступив место кому-то собранному, почти военному. Волосы стянуты в тугой узел. На плече — старый брезентовый рюкзак. В руке — фонарь с металлическим отражателем, не туристический, а явно списанный с рыболовецкого судна.

— Обуйся посуше, — вместо приветствия сказала она. — Идти долго.

— Куда?

— Я же говорила. Покажу, что видела мама.

Она развернулась и зашагала по улице, не проверяя, идёт ли он следом. Илья натянул ботинки, схватил куртку и нагнал её уже у крайнего дома, за которым посёлок кончался, уступая место низкому кустарнику и камням.

Шли молча. Тропа уводила в сторону от маяка — не к отмели, а в противоположную сторону, вдоль берега, где скалы подступали к самой воде. Илья не спрашивал, зачем они туда идут. За те двое суток, что он провёл в Мшаге, он понял главное: вопросы здесь задают после, а сначала выживают.

Дорога заняла около часа. Берег становился всё более диким: вместо песка — острые камни, облизанные прибоем до стеклянного блеска, вместо пологих холмов — отвесные стены песчаника, источенные ветром в подобие сотов. Вода здесь казалась темнее, тяжелее, и пахла иначе — не свежей солью, а чем-то затхлым, как из погреба, который не открывали годами.

— Пришли, — сказала Настя.

Илья не сразу понял, куда смотреть. Перед ними была глубокая расщелина, врезанная в скальный массив, — узкий проход, зажатый между двумя стенами мокрого камня. Метров через двадцать проход расширялся, образуя подобие естественного колодца. И в центре этого колодца, в окружении гладких каменных стен, чернела вода. Идеально круглая, будто нарисованная циркулем, она не колебалась — ни волны, ни ряби, хотя море плескалось в полусотне метров отсюда. Просто чёрное зеркало, в котором отражалось низкое серое небо.

— Это яма? — спросил Илья.

— Да. Местные называют её «глотка». Бабки говорили — если бросить камень и посчитать до десяти, а камень не упадёт, значит, море тебя услышало.

— Камень в воду падает всегда.

— Здесь — не всегда. — Настя подобрала с земли обломок песчаника и бросила в воду. Камень ударился о поверхность и исчез без всплеска. Круги не пошли.

Илья моргнул. Этого не могло быть — он видел своими глазами, видел падение, слышал глухой удар о воду, но поверхность осталась гладкой. Будто воды там не было вовсе — только имитация, чёрное стекло, натянутое над пустотой.

— Что это?

— Я не знаю. Мама называла это «порог». — Настя опустила на корточки у края, и Илья заметил, как дрожат её пальцы. Не от холода. — Она водила меня сюда, когда я была маленькой. Говорила: смотри, но не трогай воду. Я не понимала, пока не выросла. А когда выросла — голос пришёл и ко мне.

Она замолчала, глядя в чёрную гладь. Илья сел рядом — не из вежливости, а потому, что ноги вдруг стали ватными. От ямы тянуло холодом, но не физическим, а каким-то другим — холодом, который проникал не под одежду, а под кожу, прямо в кости. Он вспомнил ощущение, которое испытал в маяке, когда голос позвал его по имени. Здесь это чувство было сильнее вдесятеро.

— Расскажи мне о ней, — попросил он. — О твоей матери.

Настя долго молчала. Потом достала из рюкзака свёрток — старую клеёнчатую тетрадь, истрепанную по краям.

— Её звали Вера. Вера Макарова. — Она провела пальцами по обложке. — Она была художницей. Правда, нигде не училась — просто рисовала. Море, маяк, птиц. И нас с отцом. Она всё время рисовала нас.

— Отец? Макарыч говорил только о ней.

— Потому что отца убили. — Настя произнесла это буднично, как говорят о давно принятом факте. — Он был рыбаком. Однажды ушёл в море и не вернулся. Лодку нашли пустой. Как тех троих, что пропали сейчас. Это было... — она прищурилась, подсчитывая, — двенадцать лет назад.

— Значит, предыдущий цикл.

— Да. Только тогда никто не называл это циклами. Просто «море забрало». Мама очень горевала. Рисовала его каждый день, боялась забыть лицо. А потом начала слышать голос.

Илья вспомнил запись Келлера, ещё не полностью им осознанную: «Чем сильнее человек помнит ушедших, тем более лакомой жертвой становится». Вера идеально подходила — художница, одержимая памятью о муже.

— Что именно она слышала?

— Сначала — просто шум. Будто кто-то говорит в соседней комнате, а слов не разобрать. Потом — отдельные слова. Потом — своё имя. А однажды ночью она вскочила и сказала: «Он вернулся. Папа вернулся. Он зовёт меня».

Настя открыла тетрадь. Страницы были заполнены не текстом — рисунками. Торопливыми, углём и карандашом, иногда подкрашенными чем-то бурым, что Илья сначала принял за акварель, а потом понял: это засохшая кровь из пальцев, которыми Вера тёрла грифель.

— Она перестала рисовать море и маяк. Только одно и то же — лицо мужчины. Каждый день. Снова и снова.

Илья вгляделся в рисунки. С десятков листов — и на каждом одно лицо. Но чем дальше, тем страшнее оно становилось. Сначала — просто портрет усталого рыбака. Потом — черты начинали плыть, глаза становились больше, рот растягивался. Последние рисунки изображали уже не человека — нечто с человеческим лицом, но с глазами, в которых не было ничего, кроме голода.

— Она говорила: «Он меняется. Он уже не Миша. Но я всё равно его слышу». — Настя перевернула последнюю страницу. — А потом она решила идти сюда.

— Зачем?

— Она думала — если увидит то, что говорит с ней, то сможет противостоять. Попрощалась со мной, как будто навсегда. Сказала: «Если я не вернусь, ты никогда не слушай воду. Обещай». Я обещала. Она ушла вечером, а утром я нашла её на берегу у ямы. Живую, но...

Настя запнулась. Илья не торопил.

— Она сидела на камне и улыбалась. Я подбежала, стала трясти её, а она смотрела сквозь меня и говорила: «Там красиво. Он показал мне такую красоту. Ты не представляешь». Я спрашиваю: «Кто? Кто показал?» А она: «Твой папа». И смеётся. А папа умер двенадцать лет назад, понимаешь?

Илья понимал.

— Через неделю она ушла в воду. Сама. Я проснулась ночью — её нет. Бросилась к берегу и увидела: она заходит в море. Медленно, как будто во сне. Я кричала, бежала, но когда добежала, её уже не было. Только шаль на песке осталась. Вот эта.

Настя вытянула из ворота куртки край тёмно-синей шерстяной шали, выцветшей, но всё ещё хранившей следы узора.

— Я с тех пор её ношу. Не снимаю. И каждую ночь слышу голос.

Илья перевёл дыхание. Ему приходилось выслушивать тяжёлые истории — работа такая. Но эта отличалась от всех. Она была не законченной. Она продолжалась прямо сейчас, в этой девушке, сидящей у чёрной воды, и в нём самом.

— Что ты слышишь?

— Маму, — просто сказала Настя. — Она зовёт меня. Как тогда, когда я была ребёнком и она будила меня в школу: «Настя, вставай». Тем же голосом. С теми же интонациями. Иногда я просыпаюсь и иду к двери, потому что не помню, что она умерла. А потом вспоминаю — и холод такой, что дышать нечем.

Она поднялась и подошла к самому краю ямы.

— Что в дневнике смотрителя? — спросила она, не оборачиваясь. — Ты же его нашёл, да?

— Да. Там написано, что голос идёт из-под маяка. И что смотритель запечатал вход.

— Он не запечатал. Просто закрыл дверь. Но это не дверь. Это рот. А голос идёт не из-под маяка — он идёт отсюда. Маяк — это как слуховая трубка. Звук расходится по подводным пещерам, а здесь — центр.

— Откуда ты знаешь?

— Потому что мама знала. Она была здесь ночью, одна, и спускалась в яму. Вернулась не такой, как ушла, но кое-что запомнила. — Настя обернулась. В её светлых, почти прозрачных глазах стояло нечто, чего Илья не видел раньше: решимость отчаяния. — Я хочу спуститься. Сейчас.

— Ты с ума сошла.

— Возможно. Но ты пойдёшь со мной. Потому что если ты не пойдёшь, я пойду одна. А одна я не вернусь.

Она не дала ему времени на возражения. Сбросила рюкзак, вытащила из него моток альпинистской верёвки — старый, но прочный, с карабином на конце. Привязала один конец к каменному выступу у входа в расщелину, дёрнула, проверяя узел, и спустила другой конец в яму. Верёвка ушла в чёрную воду без всплеска.

— Там уступ, — сказала она. — Метрах в двух под водой. Я знаю, я была там с мамой. Дальше — сухо.

— Когда ты была?

— Год назад. Одна. Но дальше уступа не пошла — испугалась. Сейчас не испугаюсь.

Илья посмотрел в чёрную гладь. Каждая клетка тела кричала: не лезь. Но мозг, холодный и аналитический, уже прокручивал варианты. Если он отпустит Настю одну, она, скорее всего, погибнет. Если погибнет она — цикл, возможно, завершится, но какой ценой? Если погибнут оба — никто не узнает правду. Но если они найдут что-то там, внизу, что поможет разорвать цикл...

— Чёрт с тобой, — сказал он. — Я первый.

Он начал раздеваться.

Вода оказалась даже холоднее, чем он ожидал. Не просто ледяная — она жгла, как кислота. Илья погрузился по грудь, нашарил ногами уступ и соскользнул вниз. Верёвка, натянутая в мокрых пальцах, казалась единственной связью с миром живых.

Он нащупал край уступа и подтянулся. Действительно — вода здесь спадала, открывая вход в низкую пещеру. Илья включил налобный фонарь и осветил внутрь. Пещера уходила вглубь скалы метров на десять, постепенно расширяясь. Стены были влажными, покрытыми каким-то серым налётом, похожим на плесень, но плесенью не пахло. Пахло солью, йодом и тем же сладковато-гнилостным запахом, который он почуял в маяке.

— Иди за мной, — бросил он Насте.

Она спустилась следом — легче, быстрее, как будто делала это сотню раз.

Они двинулись вглубь.

Пещера поворачивала, раздавалась в стороны, и вскоре они оказались в круглом зале — естественной каверне с высоким сводом. Луч фонаря выхватывал детали: старые кости, рассыпанные по полу, обрывки ткани, проржавевшие пряжки. И другие предметы — новее, не старше полувека. Фонарь. Часы. Резиновый сапог, одинокий, набитый сухой морской травой.

Илья присел на корточки и поднял часы. Они ещё тикали. Стрелки показывали без четверти три. Он машинально сверил со своими — половина одиннадцатого утра. Часы шли в обратную сторону.

— Смотри, — тихо сказала Настя.

Она стояла у дальней стены и светила на неё фонарём. Вся стена была покрыта тем же серым налётом, но здесь он пульсировал — ритмично, как будто что-то дышало по ту сторону камня. Нарост толщиной в палец, эластичный, влажный. Илья протянул руку, но Настя перехватила его запястье.

— Не трогай. Мама говорила: тронешь — оно запомнит.

— Что запомнит?

— Тебя.

Она повела фонарём дальше, и они увидели, что нарост не сплошной. Кое-где он расступался, образуя пустоты, похожие на соты, и в каждой пустоте что-то лежало. Личные вещи. Фотографии. Пряди волос, перевязанные нитками. Часы, подобные тем, что тикали в обратную сторону. Множество предметов, аккуратно разложенных, как экспонаты в жутком музее.

— Это всё оттуда, — прошептала Настя. — От тех, кого море забрало. Оно собирает память. Складывает. Как белка орехи.

Илья вспомнил слова Степана: «Вещей их на лодке не было». Значит, вещи оказывались здесь. Но как? И зачем?

Ответ пришёл немедленно — в виде звука.

Сначала низкое гудение, от которого завибрировали зубы. Потом — голос. Тот самый, что говорил в маяке, но теперь он не имитировал никого из близких. Он говорил своим голосом, если вообще можно было назвать это голосом. Скорее — комбинация звуков, которую мозг отчаянно пытался интерпретировать, как утопающий хватается за соломинку.

— Вы пришли, — сказал голос. — Хорошо. Давно никто не приходил.

Настя вцепилась в руку Ильи. Пальцы у неё были ледяные.

— Где ты? — спросил Илья.

— Везде, — ответил голос. — В воде. В камне. В вас. Особенно в ней. — Пауза, во время которой Илья физически ощутил, как нечто скользнуло взглядом по Насте. — Вера привела тебя сюда, когда ты была маленькой. Ты не помнишь, а я помню. Я всё помню.

— Ты убил мою мать, — сказала Настя, и голос её не дрогнул.

— Нет. Я не убиваю. Я сохраняю. Твоя мать сама пришла, потому что не могла забыть. Я дало ей то, чего она хотела, — вечную память. Она здесь, со мной. Хочешь услышать?

И в тот же миг из глубины стены, из пульсирующего налёта, раздался новый голос — женский, мягкий, с теми же интонациями, которые Настя помнила с детства.

— Настенька. Родная моя. Иди ко мне. Здесь тепло. Здесь не больно.

Настя зажала уши ладонями. Фонарь упал на пол, покатился, луч заплескал по стенам. Илья подхватил его, одновременно удерживая девушку за плечи.

— Не слушай. Это не она.

— Знаю, — сквозь зубы выдавила Настя. — Знаю. Но я не могу. Оно каждый раз говорит её голосом. Каждый раз.

Голос матери продолжал звать, а под ним, как басовая партия, звучал другой — тот, глубинный, принадлежащий самой сущности:

— Ты придёшь. Не сегодня, так через день. Не через день, так через неделю. Вы все приходите, потому что не умеете забывать. А я умею. И я помню за вас.

Тогда Илья сделал то, чего не ожидал от себя сам.

Он шагнул вперёд, к пульсирующей стене, и сказал громко:

— Ты питаешься памятью. Верно? Живой памятью о мёртвых. Чем сильнее человек помнит — тем вкуснее. Поэтому ты зовёшь голосами тех, кого потеряли. Поэтому Вера слышала мужа, а я — мать. Ты не божество. Ты паразит.

Голос замолчал. И в этой тишине Илья расслышал нечто новое — учащённое, ритмичное биение. Пульс. Оно шло из стены, из нароста, из самой скалы. И оно учащалось.

— Ты умный, — сказал голос, но теперь в нём не было притворной мягкости. Только холод и что-то похожее на интерес. — Умнее, чем предыдущий. Тот, с плёнкой. Тот тоже думал, что всё понял. Но он не вернулся. А ты вернёшься. Потому что память сильнее разума.

И в ту же секунду вода в центре ямы — та самая чёрная гладь снаружи — вздыбилась столбом. Не метафорически — физически. Толща воды поднялась вертикально, как поршнем вытолкнутая снизу, и обрушилась на пещеру ледяным валом.

Илья успел толкнуть Настю к выходу. Сам рухнул на колени, захлёбываясь. Вода прибывала стремительно — солёная, обжигающая, она заливала пещеру, и вместе с ней пришла тьма: фонарь погас.

Он на ощупь рванулся к верёвке. Пальцы скользили по мокрому камню, сердце колотилось где-то в горле, и в голове билась только одна мысль: выбраться, выбраться, выбраться.

Чья-то рука схватила его за щиколотку.

Не Настя. Настя была впереди — он слышал её дыхание и плеск. А то, что держало его снизу, было холодным и твёрдым, как камень, но живым, сокращающимся, похожим на мускул неведомого животного.

Он рванулся изо всех сил. Ботинок соскочил с ноги. Илья, потеряв равновесие, ушёл под воду с головой, наглотался соли, но упрямо полз вперёд, цепляясь за выступы. Верёвка — он нащупал её и потянул. Карабин выдержал.

Метр. Ещё метр. Лёгкие горели.

А потом его выбросило на поверхность, и он закашлялся, задыхаясь, хватая ртом воздух — серый, пасмурный, прекрасный воздух октябрьского утра. Рядом на коленях стояла Настя, тоже мокрая насквозь, дрожащая, но живая.

Вода в яме снова была гладкой.

— Оно не хотело нас убивать, — сказала Настя, когда отдышалась. — Просто показало, что может. Это предупреждение.

— Или приглашение, — ответил Илья.

Он взглянул на свою правую ногу. Ботинка не было. Но на лодыжке, там, где держала та холодная штука, остался след — красный, быстро наливающийся синевой. Форма следа напоминала отпечаток человеческой ладони, только пальцев было больше.

Много больше.

К посёлку они вернулись к полудню. Молчаливые, вымокшие, сбившие ноги в кровь. Илья шёл и прокручивал в голове услышанное: «Ты умнее, чем предыдущий. Тот, с плёнкой». Значит, Келлер тоже был здесь. Тоже спускался. И что-то нашёл — но не выбрался.

Вечером он достал судовой журнал, тетрадь смотрителя и дневник Веры — три документа, связанных с одним и тем же злом. Разложил на столе, зажёл керосиновую лампу и начал читать параллельно, сравнивая записи. Через час он заметил закономерность.

Каждый, кто соприкасался с сущностью, оставлял описание одного и того же символа. Смотритель называл его «метка должника». Вера рисовала на полях — снова и снова, навязчиво, неосознанно. Келлер вставлял в текст загадочные значки, которых раньше не было в его научных отчётах.

Спираль, уходящая в центр.

Точно такая же, как на днище лодки, которую он видел в первый день. Как на песке, где рисовала девочка. Как та, что была вырезана на костяном амулете, найденном в яме.

Илья взял карандаш и попытался воспроизвести символ. Рука пошла сама, будто он чертил его сотни раз. Спираль легла на бумагу с пугающей лёгкостью.

Он замер, глядя на рисунок. И тут тишину дома разорвал звук — резкий, требовательный. Стук в дверь.

— Откройте! — крикнули снаружи. — Журналист, откройте!

Он вскочил, сунул тетради под подушку и распахнул дверь.

На пороге стоял Павел — тот самый небритый мужик с воспалёнными глазами. Но теперь он был не один. За ним, полукругом, стояли ещё человек десять — мужчины и женщины, все с фонарями, с баграми, с колами для сетей. Лица — угрюмые, решительные. Так смотрят люди, которые уже приняли решение и теперь ищут, на ком его осуществить.

— Ты был у ямы, — сказал Павел не обвинительно, а скорее констатируя факт. — Мы знаем. Настя рассказала Макарычу, а Макарыч — нам.

— И что?

— А то, что яма проснулась. Вода в колодцах поднялась. Скотина воет. Так было в прошлый раз перед тем, как море забрало рыбаков. Ты что-то там потревожил.

— Я ничего не тревожил.

— Ты спукался. Этого хватило.

Толпа загудела, зашевелилась. Вперёд выступила женщина — та самая, что вчера перекрестилась при виде Ильи. Сейчас она не выглядела испуганной. Сейчас она выглядела злой.

— Приезжий, — сказала она с расстановкой, — ты не знаешь наших порядков. А порядок такой: кто море будит, тот и ответ держит.

— Какой ответ?

Павел перехватил багор поудобнее.

— Завтра на сходе решим. А пока сиди дома. И не вздумай бежать — дороги нет, и не будет до отлива. Ты здесь заперт. Как и все мы.

Они ушли, растворились в сумерках, оставив Илью стоять на крыльце. Он смотрел им вслед и думал о том, что в яме ему сказали: «Ты вернёшься». И о том, что Павел сказал сейчас: «Ты здесь заперт».

Оба они имели в виду одно и то же.

Глава 4. Архив Келлера

Ночь после стычки у крыльца Илья провёл без сна — уже третью по счёту с момента приезда. Он лежал на продавленной кровати, прислушиваясь к каждому звуку снаружи, и прокручивал в голове лица, виденные при свете фонарей. Десять человек. Может, двенадцать. Мужчины с баграми, женщины с кольями для сетей. Ни одного молодого лица — сплошь старики и те, кому перевалило за сорок. Но их было много, а он один.

Под утро он всё-таки провалился в забытье — тяжёлое, без сновидений, похожее на обморок. А когда проснулся, за окном уже стоял день — серый, ветреный, но без дождя. Часы показывали начало десятого.

Илья плеснул в лицо ледяной водой из ведра, натянул свитер и вышел на крыльцо.

Посёлок изменился.

Нет, внешне всё оставалось прежним: те же серые дома, тот же ржавый пирс, те же чёрные ели за околицей. Но теперь между домами стояли люди. Они не шли к нему, не угрожали — просто стояли и смотрели. Женщина с ведром замерла у колодца. Двое мужиков, сидевших на перевёрнутой лодке, прервали разговор и повернули головы. Даже старик, которого Илья раньше не видел — совсем дряхлый, в залатанном тулупе, — сидел на лавке у крайнего дома и неотрывно глядел в его сторону.

Илья поднял руку в приветственном жесте. Никто не ответил. Женщина подхватила ведро и скрылась за углом. Мужики отвернулись. Старик продолжал смотреть.

— Доброе утро, — сказал Илья громко, уже без надежды на ответ. — Приятно, когда тебе рады.

Тишина. Только ветер свистнул в печной трубе да где-то далеко, у маяка, прокричала чайка.

Он спустился с крыльца и направился к дому Макарыча. Шёл не быстро, стараясь не показывать страха, хотя спина между лопаток чесалась от пристальных взглядов. Ему казалось, что он слышит их шаги — крадущиеся, мягкие, в такт его собственным. Но когда он оборачивался, улица была пуста.

Макарыч сидел на том же месте, что и всегда, но выглядел хуже. Осунувшийся, с тёмными кругами под глазами, он не чистил рыбу и не перебирал сети — просто сидел, положив большие костистые руки на стол. Перед ним стояла кружка с чем-то тёмным, пахнущим травами и спиртом.

— Заходи, — бросил он, не поворачивая головы. — Дверь открыта.

Илья сел напротив. Помолчали.

— Это вы их послали? — спросил он наконец.

— Нет. Сами собрались. Павел мутит воду. — Макарыч отхлебнул из кружки. — Он после того, как жену потерял, умом тронулся слегка. А теперь и остальные за ним. Ты им как кость в горле — пришлый, который лезет туда, куда не просят.

— Я не лез. Настя сама меня отвела.

— Настя, — старик горько усмехнулся, — давно ищет смерти. С тех пор как мать ушла. А теперь, когда ты здесь, у неё появился свидетель. Это опасно. Для вас обоих.

Он поднялся, подошёл к шкафу и долго стоял к Илье спиной, словно что-то взвешивая. Потом решился — резко, одним движением выдвинул нижний ящик и достал из него металлическую коробку. Тяжёлую, с проржавевшими углами, когда-то выкрашенную в зелёный цвет.

— Держи. — Он поставил коробку на стол, и столешница ощутимо прогнулась. — Это всё, что осталось от Келлера. Я хотел сжечь ещё тогда, в девяностые. Рука не поднялась. А теперь, видать, время пришло.

Илья откинул крышку. Внутри, уложенные в несколько слоёв, лежали бумаги — пожелтевшие, с выцветшим машинописным шрифтом, кое-где подмоченные, но в целом хорошо сохранившиеся. Сверху — красная книжечка с гербом СССР: удостоверение личности. «Келлер Виктор Иванович, 1941 г.р., Институт океанологии АН СССР, старший научный сотрудник». Фотография: мужчина лет сорока, с узким лицом, ранней сединой на висках и взглядом, который не выглядит ни весёлым, ни грустным — только внимательным. Очень внимательным.

Ниже — машинописные листы, скреплённые ржавой скобой. Илья пробежал глазами шапку: «Отчёт о предварительном обследовании акватории в районе н.п. Мшага. Июль 1983 г. Экз. № 2». Под грифом «Для служебного пользования» стояла размашистая подпись синими чернилами.

— Почему вы мне это отдаёте? — спросил Илья.

— Потому что ты уже слышал голос, — просто ответил Макарыч. — А кто услышал, тому отступать некуда. Ты теперь часть этого. Хочешь не хочешь. Так пусть хоть будешь понимать, с чем имеешь дело.

Илья перевернул первую страницу и начал читать.

Из отчёта В.И. Келлера, июль 1983 г.

«...аномалия была впервые зафиксирована гидроакустической аппаратурой НИС «Профессор Визе» 4 июля сего года при плановом картировании дна в квадрате 67-14. Приборы зарегистрировали серию низкочастотных колебаний в диапазоне 4–7 Гц, не характерных для сейсмической активности данного района. Источник колебаний локализован в точке с координатами [зачёркнуто чернилами от руки] на глубине ориентировочно 40–60 метров. Характер сигнала позволяет предположить наличие подводной полости значительного объёма.

8 июля группа в составе трёх человек (Келлер, Симонов, Григорьев) высадилась в н.п. Мшага для проведения береговых измерений. Местное население встретило экспедицию настороженно, от комментариев воздерживалось. Исключение составил гражданин Макаров Е.П., 1921 г.р., смотритель маяка (на тот момент — бывший, маяк не функционирует с 1976 г.). Макаров сообщил, что «море здесь поёт» и что «песню эту лучше не слушать». Показания занесены в протокол опроса № 4.

12 июля водолаз группы Симонов А.В. совершил первое погружение в районе предполагаемой аномалии. По возвращении Симонов доложил об обнаружении подводной пещеры на глубине 38 метров, а также о «странных акустических эффектах» — по его словам, в пещере отчетливо слышны голоса, напоминающие человеческую речь. Симонов — специалист с 15-летним стажем, склонностью к фантазиям не отличается...»

Илья оторвался от бумаг и посмотрел на Макарыча.

— Макаров — это ваш отец?

— Дед, — поправил старик. — Тот самый, что дневник вёл. Он тогда ещё жив был, хотя совсем старый. Келлер с ним долго говорил. Дед ему всё и выложил — про голос, про яму, про приливы. Келлер поначалу не верил. А потом...

— Что потом?

— Читай давай. Там всё написано.

Илья вернулся к отчёту.

«...16 июля. Повторное погружение Симонова и Григорьева. На глубине 42 метров обнаружен вход в обширную карстовую полость, предположительно соединённую с береговой

линией в районе т.н. «ямы» — естественного провала в 0,8 км к юго-западу от маяка. Внутри полости — многочисленные предметы антропогенного происхождения: останки плавсредств, орудия лова, личные вещи. Часть предметов идентифицирована как принадлежавшая лицам, пропавшим без вести в данном районе за последние 30 лет. Составлен акт.

18 июля. Симонов сообщил, что в ходе третьего погружения слышал голос, обращавшийся к нему по имени. Голос принадлежал его покойной дочери (Симонова Е.А., 1965–1980). Симонов настаивает на прекращении работ. Я принял решение приостановить погружения до выяснения природы явления.

20 июля. В посёлок прибыла группа военнослужащих в/ч 31678 в составе 6 человек под командованием капитана 3-го ранга Новикова. Предъявлено предписание: район объявлен режимным, все работы прекратить, материалы изъять, персоналу экспедиции предписан выезд в 24-часовой срок. На мой вопрос, на каком основании, капитан Новиков ответил: «На основании приказа, товарищ учёный. И не советую спорить».

21 июля. Материалы не изъятые — я успел скопировать часть записей и спрятать у Макарова. Выезд невозможен по причине шторма. Военные остаются в посёлке. Обстановка напряжённая.

22 июля. Ночью Симонов ушёл из дома, где мы квартировали. Утром его нашли на берегу, у ямы. Живой, но в состоянии глубокого психического расстройства. Повторяет: «Она там, она живая, я должен её забрать». О своей дочери. Капитан Новиков приказал запретить Симонова в одном из домов и выставить охрану.

23 июля. Я запросил у Новикова объяснений. Он ответил уклончиво: «Вам это не нужно знать, товарищ Келлер. Скажем так: объект М-17 известен нам с 1960-х. Изучался. Закрыт. Выводы не в вашей компетенции». Я спросил, что такое «объект М-17». Новиков не ответил.»

Скоба, скреплявшая листы, кончалась. Дальше шли разрозненные записи — уже не машинописные, а сделанные от руки, торопливым почерком на полях карт и оборотных сторонах бланков.

Илья перебирал их, чувствуя, как холод внутри растёт с каждой прочитанной строкой.

«Симонов бежал. Новиков организовал поиски, но безуспешно. Он как сквозь землю провалился — или в воду ушёл. Я начинаю думать, что Макаров прав. Здесь что-то есть, и оно не геологического происхождения».

«Григорьев тоже начал слышать. Пока не голоса — просто шум, похожий на шёпот. Он говорит, что шум идёт не снаружи, а изнутри головы. Я проверил его уши — никаких патологий. На всякий случай отобрал у него оружие (у нас был сигнальный пистолет, один на группу)».

«Новиков запросил эвакуацию. Ему отказали: шторм, вертолёт не поднимется. Мы заперты здесь. Все вместе».

«Сегодня я сам услышал. Это был голос моей матери. Она умерла в 1975-м. Я сидел на кровати и плакал, как ребёнок. Мне 42 года, я коммунист, я не верю в чёрта, но этот голос был реальнее, чем всё, что я знал до сих пор».

«Новиков что-то знает. Он не удивлён. Я пытался с ним говорить — он отмахивается. Но ночью я видел, как он стоит на берегу и смотрит в воду. Просто стоит и смотрит. И губы у него шевелятся».

«Григорьев пропал. Это произошло ночью. Новиков выставил часового, но тот ничего не видел. Григорьев просто вышел из дома и ушёл в море. Часовой клянётся, что Григорьев шёл с открытыми глазами и улыбался».

«Нас осталось трое: я, Новиков и один матрос. Я принял решение: завтра утром мы идём к яме и пытаемся понять, что это такое. Если я не вернусь — пусть этот дневник останется здесь. Может, кому-то он поможет».

Илья перевернул страницу. Дальше шли уже не записи — отдельные фразы, набросанные вразнобой, без дат и подписей.

«Оно не в воде. Оно в памяти. Ключ — воспоминания о мёртвых».

«Человек, который никого не терял, не слышит голоса. Я проверил на матросе. Его родители живы, жены нет, друзья — в части. Он глух к зову».

«Макаров-старший был прав. Каждые 10–12 лет — пик. Следующий, по моим расчётам, придётся на 1995–1996 годы. Если я не остановлю это сейчас».

«Новиков признался: объект М-17 — это нечто, обнаруженное военными гидрографами в 1961 году. Попытки контакта предпринимались дважды. Оба раза — потеря группы. Результат один: объект реагирует на человеческую речь, имитирует голоса умерших, предположительно питается эмоциональной энергией, связанной с воспоминаниями о смерти. Классификация: потенциально опасный, контакт не рекомендуется. Меры: изоляция района, дезинформация населения (слухи о минах, ракетном полигоне). Всё».

«Макаров показал мне дневник. Я переписал последние страницы, которые он потом вырвал. Там — ритуал. Точнее, договор. Море можно задобрить. Для этого нужен доброволец. Тот, кто уйдёт в воду сам».

«Я больше не знаю, что правильно».

На этом дневник обрывался. Илья перелистнул пустые страницы до самого конца — ничего. Только на внутренней стороне задней обложки, совсем мелко, словно автор царапал ногтем:

«Нет добровольца. Есть жертва. Есть память. Если уничтожить память — оно ослабнет. Я попробую».

Илья отложил бумаги. Руки дрожали — не от холода, от возбуждения. Он чувствовал себя так, будто нашёл недостающую деталь головоломки, но картинка от этого стала только страшнее.

— Дочитал? — спросил Макарыч.

— Дочитал. — Илья потёр лицо ладонями. — Значит, военные знали. Ещё в шестидесятых знали. И ничего не сделали.

— А что они могли сделать? Бомбу сбросить? — Старик пожал плечами. — Это не враг, парень. Это... как погода. Или как смерть. Оно просто есть. Единственное, что можно сделать — вовремя уйти с его дороги.

— Или дать ему то, что оно просит.

Макарыч долго молчал. Потом поднялся, подошёл к окну и зачем-то поправил занавеску, хотя она и так висела ровно.

— Ты про жертву, — сказал он глухо. — Да, я знаю. Мой прадед знал, и Келлер знал, и Вера знала. Потому Вера и ушла — она отвела удар от Насти. Но это дало нам десять лет, не больше. Теперь срок вышел. И Настя — следующая.

— Почему обязательно она?

— Потому что метка. — Макарыч обернулся, и Илья увидел в его глазах тоску, которой раньше не замечал. — Когда Вера ушла, море оставило Настю в покое. Но метка не исчезла — она перешла. Как наследство. И теперь, когда пик снова близко, оно зовёт её сильнее всех. Оно хочет её. И, рано или поздно, оно её получит.

— Или нет.

— Что ты предлагаешь?

Илья встал и подошёл к столу, за которым сидел Макарыч. Положил бумаги Келлера перед собой, открыл на последней странице, ткнул пальцем в строчку: «Если уничтожить память — оно ослабнет».

— Вот что я предлагаю. Собрать всё, что хранит память о пропавших. Все вещи, письма, фотографии. Дневник вашего прадеда. Судовой журнал с «Надежды». Дневник Веры. Всё, что есть в посёлке. И сжечь.

— С ума сошёл, — сказал Макарыч, но без возмущения, скорее задумчиво.

— Возможно. Но послушайте: Келлер понял это ещё тогда. Сущность питается памятью. Не просто памятью — болью утраты, тоской по мёртвым. Чем сильнее мы помним, тем больше даём ей сил. Если лишить её этой подпитки — она ослабнет. Не исчезнет, нет. Но, может быть, пропустит цикл. Даст отсрочку.

— А если не пропустит?

— Тогда у нас будет план Б. — Илья помедлил. — Но я не хочу говорить о плане Б, пока мы не испробуем план А.

Макарыч смотрел на него долго и пристально. Потом неожиданно хмыкнул — сухо, без веселья, но и без прежней враждебности:

— А ты упрямый. Весь в Келлера. Тот тоже до последнего верил, что наука всё победит. — Он взял кружку со стола, допил остатки. — Ладно. Убедил. Завтра обойдём дома, соберём вещи. Но Павел и его люди этого не поймут. Для них единственный способ спастись — принести жертву. И они уже решили, кто будет жертвой.

— Настя.

— Настя. — Макарыч кивнул. — Она сейчас у Степана, он её не выдаст. Но до пика — шесть дней. И чем ближе прилив, тем сильнее будет голос. И тем решительнее будут люди.

Илья вспомнил вчерашнюю сцену у своего дома — фонари, багры, воспалённые глаза Павла. Шесть дней — это много и мало одновременно. Много, чтобы успеть что-то сделать. Мало, чтобы люди не сорвались в панику.

— Я пойду к ней, — сказал он, поднимаясь. — Надо поговорить.

— Иди. Только осторожно. За тобой теперь смотрят.

Дом Степана стоял на отшибе, ближе к пирсу. Илья шёл быстро, не оглядываясь по сторонам, хотя кожей чувствовал: за ним следят. Не из окон — окна в Мишаге были глухие, задёрнутые шторами. Из щелей, из-за углов, из теней, которых в пасмурном дне было больше, чем света.

Степан открыл не сразу. Долго всматривался в щель, потом отодвинул засов.

— Заходи быстро.

Настя сидела у печи, завернувшись в старую фуфайку. Выглядела она неважно — бледная, с заострившимися скулами, с тёмными кругами, которые за двое суток стали заметно глубже. Но глаза оставались ясными и цепкими.

— Ты пришёл, — сказала она без удивления.

— Я обещал. — Илья присел на корточки рядом с ней. — Как ты?

— Держусь. Днём голос молчит. Ночью — по-прежнему. Но я привыкла. — Она криво усмехнулась. — За двенадцать лет ко многому привыкаешь.

— Твоя мать боролась с ним. И Келлер боролся. И смотритель маяка. Все они что-то нашли — но не дожали. Сейчас есть шанс дожать.

Он рассказал ей про архив, про записи Келлера, про то, что военные знали об объекте с шестидесятых, и про идею с сожжением памяти. Настя слушала молча, не перебивая. Когда он закончил, она долго смотрела в огонь печи, покусывая губу.

— Это может сработать, — сказала она наконец. — Но есть одна проблема.

— Какая?

— Я — тоже память. — Она повернулась к нему, и в её светлых глазах стояло что-то, чего Илья не видел раньше: спокойное, почти умиротворённое отчаяние. — Моя мать ушла, чтобы спасти меня. Её любовь ко мне — это тоже память, которой питается море. И пока я жива, оно будет помнить о ней. А значит, голод не уйдёт.

— Не говори так.

— Я не говорю, что пойду топиться. — Она снова усмехнулась, на этот раз почти весело. — Просто к тому, что если твой план не сработает, у нас останется мой. И я не боюсь, честно. Мама не боялась. И я не буду.

Степан, молча сидевший у двери, крикнул и сплюнул в жестяную банку.

— Глупости, — сказал он. — Никто никуда не пойдёт. Завтра соберём вещи, сожжём, и дело с концом. А ты, парень, лучше скажи: что с Павлом делать будешь? Он всерьёз настроен.

— А что с ним делать? — Илья пожал плечами. — Говорить. Объяснять. Он не враг, он напуган.

— Напуганный человек опаснее врага, — заметил Степан. — Враг хотя бы предсказуем.

Настя вдруг встрепенулась:

— Тихо.

Все замолчали. В тишине было слышно, как потрескивают дрова в печи, как ветер шуршит песком за окном, как далеко, у маяка, море мерно бьёт о скалы. И ещё — шаги. Много шагов, приближающихся со стороны посёлка.

Степан поднялся с табурета и взял прислонённый к стене багор.

— Сидите здесь, — сказал он и вышел на крыльцо.

Илья подошёл к окну и осторожно отдернул край шторы.

По улице, со стороны домов, шли люди. Фонари они не зажгли — света дня ещё хватало, — но в руках несли те же багры и колья, что и вчера. Во главе шёл Павел. Рядом с ним — та самая женщина, что предлагала «приезжему ответ держать». За ними — ещё человек восемь.

Они остановились перед домом Степана. Павел вышел вперёд. Он не кричал, не размахивал багром — говорил спокойно, даже буднично, и от этого было только страшнее.

— Степан, мы знаем, что она у тебя. Выдай девку. Она всё равно обречена — сам знаешь. А так хоть людей спасём.

— Иди пропись, Паша, — ответил Степан, стоя в дверях. — Ты не в себе.

— Я в себе. Я, может, впервые за пять лет в себе. — Павел повысил голос, но не сорвался. — Пока вы тут секреты разводите, море готовится. Вода в колодцах уже на локоть поднялась. У Серафимы в хлеву свиньи передохли — просто легли и не встали. Это прилив, Степан. Большой прилив. И если мы не отдадим то, что море просит, он накроет всех. Не только Настю — всех.

— Это она тебе сказала? — Степан кивнул на женщину рядом с Павлом. — Серафима у нас теперь главный советник?

Женщина выступила вперёд. Глаза у неё были мутные, как у человека, который давно не спит, но в голосе звенела убеждённости:

— Мне бабка ещё говорила, царствие ей небесное: «Придёт день, когда море спросит своё, и горе тому, кто утаит». Мы утаили в прошлый раз — думали, Верой откупились. А море не дурак. Море знает, кого метило.

— Настю метило, — перебил Павел. — И теперь, раз она здесь, пусть идёт. Сама. Добровольно. Как мать.

Илья почувствовал, как Настя рядом с ним напряглась. Он положил руку ей на плечо — жест скорее для себя, чем для неё.

— Я выйду, — тихо сказала она.

— Нет.

— Илья, они не уйдут. А если начнётся драка, пострадают все.

— Если ты выйдешь, они отведут тебя к яме. Ты этого хочешь?

Она промолчала. А снаружи уже нарастал шум — к Павлу подходили новые люди, человек пять, не меньше. У некоторых Илья заметил факелы — не зажжённые, но готовые. Толпа колыхалась, как вода перед штормом. Ещё немного — и уговоры перейдут в действие.

И тогда он принял решение.

— Жди здесь, — сказал он Насте и вышел на крыльцо.

Толпа загудела при виде него. Павел прищурился, Серафима поджала губы. Степан покоился на Илью с сомнением, но ничего не сказал.

— Послушайте, — начал Илья, стараясь говорить громко и ровно. — Я знаю, что вы напуганы. Я тоже напуган. Но то, что вы предлагаете, не поможет. Мать Насти уже отдала себя десять лет назад — и вот мы снова здесь. Жертва даёт отсрочку, но не решает проблему. Если мы хотим покончить с этим навсегда, нужно другое.

— И что же? — выкрикнул кто-то из толпы. — Ты учёный? Ты знаешь, что делать?

— Я знаю, что знал человек, который был здесь в восемьдесят третьем. Океанолог Келлер. — Илья вытащил из кармана несколько листов — тех самых, из архива, — и поднял над головой. — Вот его записи. Он изучал это место с приборами, с водолазами. И он понял: море питается не телами. Памятью. Воспоминаниями о тех, кого вы потеряли. Каждая вещь, хранящая после покойного, каждое неотплаканное горе — это еда для того, что сидит под водой. Оно не демон, не божество — оно паразит. И его можно обессилить.

Толпа затихла. Даже Павел, кажется, замешкался. Серафима открыла рот, чтобы возразить, но Илья не дал ей слова.

— Завтра мы со Степаном и Макарычем начнём собирать всё, что хранит память о пропавших. Вещи, письма, фотографии. Дневники. И сожжём. Всё. Если у вас дома есть что-то, напоминающее об ушедших, — приносите. Не для меня. Для себя.

— А если не поможет? — крикнул Павел. Голос его дрогнул, и Илья понял: этот человек не зол, нет. Он в ужасе. В том же ужасе, который сам Илья испытал в яме, когда вода заговорила голосом матери.

— Тогда останется другой путь, — ответил Илья. — Но я не отдам Настю вам просто потому, что вы боитесь. Я тоже боюсь. Но я хотя бы попробую сделать что-то, чего до нас не делал никто.

Павел шагнул вперёд. Илья напрягся, ожидая удара. Степан перехватил багор поудобнее. Но Павел вдруг остановился — и плюнул на землю перед крыльцом.

— Хрен с тобой. Один день. Если завтра к вечеру ничего не изменится — пеняй на себя.

Он развернулся и пошёл обратно. Серафима задержалась на мгновение, сверля Илью мутными глазами, и процедила:

— Бабка говорила: «Чужак, что в море глядит, домой не вернётся». Помяни моё слово.

И ушла следом. Толпа, помедлив, рассосалась — кто за Павлом, кто по своим дворам. Через минуту улица опустела.

Степан опустил багор. Руки у него слегка дрожали — не от слабости, от адреналина.

— Лихая ночь будет, — сказал он негромко. — Ты как знаешь, а я запру двери на оба засова.

Илья вернулся в дом. Настя сидела на том же месте, но смотрела на него иначе — не с надеждой, нет. С чем-то, что он не мог опознать.

— Ты соврал им, — сказала она. — Насчёт Келлера. Ты сам не знаешь, сработает ли это.

— Я не соврал. Я прочитал то, что он написал, и поверил. Разница есть.

— Разница есть, — согласилась она. — Только море её не заметит.

С этими словами она отвернулась к печи и больше не сказала ни слова. А Илья стоял посреди комнаты и думал о том, что завтра им предстоит обойти дома, собрать память целого посёлка и бросить её в огонь. И о том, что ни одна вещь, сгоревшая в костре, не стоит человеческой жизни — но и ни один костёр, возможно, не остановит то, что древнее самой памяти.

Глава 5. Вторая экспедиция

Утро началось с новостей — дурных, как всё в Мшаге в последние дни.

Илья вышел из дома, ещё не до конца проснувшийся, с головой, гудящей после бессонной ночи, и сразу заметил: на улице снова люди. Но теперь они не стояли столбами и не сверлили его взглядами. Они двигались — в одну сторону, к дому на краю посёлка, крытому почерневшей дранкой и окружённому низким штакетником, который не красили, наверное, с царских времён. В руках люди несли не багры и не колья, а что-то завернутое в тряпицы, узелки, корзинки — снедь, как понял Илья.

— Что случилось? — спросил он у Макарыча, встреченного у колодца.

Старик был мрачнее обычного. Вода лилась через край ведра, а он, казалось, не замечал.

— Бабка Агафья померла. Ночью. Соседка зашла проведать, а она уже холодная. — Он перекрестился — скупое, без показного благочестия, просто привычным движением. — Последняя из старых. Теперь только я и помню, как оно до войны было.

— Она что-то знала? О море?

— Знала. Она много чего знала. Травы собирала, наговоры шептала. К ней бабы бегали, когда дети болели, и мужики, когда сеть пустая приходила. Всё, что моя прабабка ей передала, а та — своей, и так от первых поселенцев. Теперь цепочка порвалась. — Макарыч наконец вытащил ведро, поставил на сруб. — Хоронить завтра будем. Если успеем до прилива.

— А что с приливом?

— Кладбище у нас на взгорке, там сухо. Но подходы заливают, если вода большая. Может, и не пройдем. Тогда — в море хоронить. По-старому.

Илья хотел спросить, что значит «по-старому», но Макарыч уже пошёл прочь, горбясь под тяжестью ведра. Илья постоял немного, глядя вслед старику и людям, тянувшимся к дому Агафьи, и подумал: ещё одно звено выпало. Ещё один человек, который знал, как с этим бороться. И никого взамен.

Дом Агафьи внутри пах воском, сушёной полыньёю и старостью — не затхлою, а скорее уважительной, как пахнут книги в библиотеке, которую давно не открывали. Илья вошёл следом за Степаном, и тот сразу стащил с головы шапку — жест, которого Илья за ним раньше не замечал.

Покойница лежала в переднем углу, на широкой лавке, прикрытая по грудь старой кружевной скатертью. Лицо — мелкое, пергаментное, с запавшими глазами — казалось не мёртвым, а просто очень уставшим. Руки, сложенные на груди, сжимали маленький кипарисовый крестик и пучок каких-то сухих трав, перевязанных красной ниткой.

— Крест и оберег, — прошептал Степан, заметив взгляд Ильи. — Она всегда при себе держала. Говорила: «Крест для души, оберег от воды». Не помогло, видать.

— Или помогло, — тихо ответил Илья. — Может, море её и не тронуло. Просто время пришло.

У изголовья сидела женщина — та самая Серафима, что вчера требовала выдать Настю. Сегодня она выглядела иначе: не злой, а растерянной. Глаза красные, нос распух. Увидев Илью, она дёрнулась было, но потом махнула рукой:

— Стой, приезжий. Бабка о тебе спрашивала.

— Обо мне? — Илья нахмурился. — Она же не могла знать, что я приеду.

— Знала. Третьего дня ещё сказала: «Придёт человек из города, высокий, глаза светлые. Скажи ему — пусть не отвечает». Я тогда не поняла, думала — бредит. А теперь вижу: ты.

— «Пусть не отвечает» — и всё?

— Нет. — Серафима понизила голос, и Илье пришлось наклониться ближе. — Она ещё сказала: «Внучку мою, Дашу, вызовите. Как помру — сразу телеграмму шлите. Без неё не хороните. Она должна домой вернуться, пока вода не поднялась».

— Почему?

— Не сказала. Просто повторила: «Пока вода не поднялась». Я вчера телеграмму послала, с попутным трактором в Усть-Кемь передала. Должна дойти.

Илья выпрямился. Даша. Внучка. Значит, у Агафьи был кто-то в городе, кто-то, кто уехал и не вернулся. И теперь бабка звала её обратно — перед самым приливом. Зачем?

— Она ещё что-нибудь говорила?

Серафима покачала головой. Потом всхлипнула, утёрла нос краем платка и отвернулась к покойнице, давая понять, что разговор окончен.

Илья вышел на воздух. Стоял и смотрел на море, которое сегодня казалось спокойным — обманчиво спокойным, как зверь, притворившийся спящим.

Даша. Ещё один человек, которого он никогда не видел, но который уже вплетался в сеть событий. Как и он сам несколько дней назад.

Вторую половину дня они посвятили обходу домов.

Макарыч составил список — неровные каракули на обрывке обёрточной бумаги: фамилии, имена, годы. Степан шёл первым, объяснял людям, что к чему, и, когда нужно, успокаивал. Илья шёл следом, тащил мешок и молча молился, чтобы никто не захлопнул дверь перед носом.

Вопреки ожиданиям, двери открывали.

Первой была вдова рыбака, пропавшего в девяносто пятом. Старуха с трясущимися руками, которая сначала долго не могла понять, чего от неё хотят, а потом вдруг заплакала и вынесла целую коробку: фотографии мужа, его трубку, вязаный свитер, который она так и не довязала. «Берите, — сказала она, вытирая слёзы. — Всё берите. Только спасите Настю. Она девка хорошая, ей ещё жить».

Вторым был дом, где когда-то жил Григорьев — тот самый водолаз из группы Келлера. Сейчас здесь обитал племянник Степана, молодой парень, который приехал из Архангельска подработать и застрял. Он отдал пачку писем, найденных на чердаке, — пожелтевшие конверты с адресом «Мшага, до востребования, Григорьеву А.В.». Обратного адреса не было.

К вечеру мешок раздулся, как брюхо утопленника. Илья тащил его к дому Макарыча и чувствовал не тяжесть, а странную, почти осязаемую вибрацию, исходившую от содержимого. Словно вещи не хотели в огонь. Словно они знали, зачем их собрали.

— Чуешь? — спросил Степан, шагавший рядом. — Я тоже чую. Они как живые. Особенно те, что от пропавших.

— Вещи не могут быть живыми.

— Много ты понимаешь. Вещь, которую человек любил, всегда частицу души хранит. А если человек в море ушёл — и подавно. Море душу забирает, а вещь остаётся. Как якорь.

Илья не ответил. Он думал о том, что Келлер, возможно, был прав в главном: память — это не абстракция. Это субстанция. И она имеет вес.

Ночь накрыла Мшагу рано. К десяти часам улицы опустели, и только в доме Агафьи горел свет — там сидели старухи, читали псалтырь. Илья, вернувшись к себе, зажёл керосиновую лампу, положил на стол бумаги Келлера и дневник смотрителя маяка. Нужно было сопоставить даты, найти закономерности, понять, сколько у них времени.

Он читал до полуночи.

Из записей Келлера следовало, что пик прилива приходится на новолуние — а ближайшее новолуние ждали через пять дней. Каждый раз, когда луна исчезала с неба, море поднималось выше обычного, и голос становился громче. Келлер вычислил это ещё в восемьдесят третьем. Он даже построил график, начерченный от руки на миллиметровке: кривая, взмывающая вверх каждые десять-двенадцать лет, с пометкой «М-17 — пик активности». Последняя точка на графике была поставлена на 1983 году. Дальше — пустота.

Илья перевернул страницу и замер.

На обороте графика, мелко, карандашом, были написаны ещё несколько строк — видимо, уже после того, как Келлер отдал дневник Макарову. Почерк был тот же, но неровный, скачущий, словно автор писал в темноте:

«Я возвращаюсь. Новиков отпустил меня в Архангельск на неделю. Я должен подумать. Но думать не получается — голос матери не замолкает. Она просит меня прийти. Говорит, что там, в пещере, не больно. Говорит, что я снова её увижу. Я знаю, что это не она. Но какая-то часть меня хочет верить. И эта часть растёт.

Я подал рапорт в Москву. Подробный, с приложением всех данных, включая копии записей Симонова и мои собственные наблюдения. Ответ пришёл через три дня: «В возбуждении ходатайства отказано. Объект М-17 выведен из плана исследований. Рекомендуем прекратить самостоятельные изыскания во избежание дисциплинарных последствий». Это не ответ, это отписка. Кому-то наверху выгодно, чтобы об этом месте забыли.

Новиков проговорился: в шестьдесят первом, когда военные только наткнулись на объект, они попытались его уничтожить. Заложили в подводную пещеру заряд — обычный тротил, килограммов двадцать. Взрыв прогремел, но пещера не обрушилась. Более того — на следующий день на берегу нашли всех троих сапёров. Мёртвых. С открытыми глазами и улыбками на лицах. С тех пор объект не трогали.

Я думаю: может, оно не злое? Может, оно просто иное? Но когда я вспоминаю лицо Симонова после того, как он выбрался из воды, — я знаю: злое. Не по человеческим меркам, но злое. Оно не просто забирает — оно высасывает. Оставляет оболочку, которая улыбается, но внутри пуста.

Завтра я возвращаюсь в Мшагу. Не знаю, что буду делать. Но оставаться в Архангельске, где голос матери слышен даже сквозь городской шум, я больше не могу. Может быть, там, на месте, я найду способ».

Илья отложил бумаги. За окном выл ветер, и в его вое ему слышались обрывки слов — или это уже играло воображение, разогретое чтением.

Он заставил себя лечь. Сон не шёл. Он лежал и думал о Келлере: тот вернулся, зная, что идёт на смерть. Или на что-то хуже смерти. И его записи лежат сейчас на столе — последнее, что от него осталось. Кроме, возможно, останков где-то на дне ямы.

Часы показывали начало четвёртого, когда Илья наконец провалился в дрему.

И почти сразу проснулся.

В доме было холодно. Очень холодно — так, что изорта вырывался пар, хотя печь топили вечером и угли ещё должны были тлеть. Илья сел на кровати, нашаривая фонарь, и в этот момент услышал:

— Илюша.

Голос матери. Снова. Но теперь он шёл не снаружи — не из ямы, не из маяка. Он шёл изнутри. Прямо в голову, минуя уши, как будто кто-то говорил прямо в мозг, не нуждаясь в воздухе и звуковых волнах.

— Илюша, сынок, я так замёрзла.

Илья зажмурился. «Это не она. Это не она. Это не она». Он повторял это про себя, как мантру, но голос не уходил. Он становился ближе, теплее, роднее.

— Ты забыл меня, Илюша? Ты помнишь, как мы ходили на залив? Ты был маленький, потерял варежку и плакал. А я отдала тебе свою. Помнишь?

Он помнил. Господи, он помнил каждую деталь: серое небо над Финским заливом, мокрый снег, красную варежку, которая упала в лужу, и мамину руку — горячую, несмотря на мороз. Она сняла свою варежку и надела на его озябшие пальцы. «Ничего, — сказала тогда, — у меня руки горячие. А ты не плачь. Мужчины не плачут».

— Я не плачу, — сказал Илья вслух. — Ты не моя мать. Ты — тварь, которая украла её голос.

— Я не украла, — ответил голос, и в нём прорезалась другая нота — глубже, старше, без притворной ласки. — Я сохранила. Твоя мать ушла в землю. А я могу вернуть её. Ты будешь слышать её каждый день. Не во сне — наяву. Она будет с тобой до конца. Разве этого ты не хочешь?

Илья открыл глаза.

У окна что-то стояло.

Он не видел его — фонарь не горел, луна не светила. Но он чувствовал присутствие: сгусток темноты, более плотный, чем остальной мрак. Оно не двигалось, не дышало. Просто находилось здесь, в трёх метрах от кровати, и смотрело. Илья не видел глаз, но знал: на него смотрят.

— Ты не можешь войти, — сказал он. — Если бы могла — уже вошла бы.

Существо не ответило. Но по стеклу окна поползла изморозь — не снаружи, изнутри. Морозный узор, похожий на спираль. Ту самую.

— Ты силен, — произнёс голос. — Сильнее, чем тот, с плёнкой. Но ты всё равно придёшь. Все приходят. Потому что память — это голод, который не утолить. А я — насыщение. Я даю то, чего вы жаждете больше жизни: вечную память. Вечное присутствие. Вечную любовь.

— Это не любовь. Это рабство.

— Это одно и то же, — ответил голос, и в нём прозвучало что-то похожее на усмешку. — Спроси у матери Насти. Она счастлива. Спроси у Келлера. Он тоже здесь. Все здесь. И ты будешь.

Темнота у окна качнулась и начала таять. Изморозь поползла обратно, к центру, сворачиваясь в капли. Холод отступил.

Илья остался один.

До рассвета он не спал. Сидел на кровати, завернувшись в одеяло, и смотрел на окно, за которым медленно серело небо. Мысль о том, что мать — где-то там, внутри этой твари, — жгла, как кислота. Но ещё больнее было осознавать, что крошечная часть его действительно хочет услышать её снова. Хочет поверить, что это она. И эта часть — самый опасный враг. Потому что именно на неё и рассчитывает море.

Утром пришли новости — на этот раз хорошие. Связь заработала. Ненадолго, на полчаса, пока ветер разогнал облака и спутниковый сигнал пробился сквозь толщу непогоды. Илья успел отправить редактору короткое сообщение: «Жив. Материал серьёзный. Жди». Ответ пришёл почти мгновенно: «Жду. Не геройствуй». Илья усмехнулся — легко сказать «не геройствуй», когда сидишь в тёплом кабинете за триста километров отсюда.

Сразу после этого он отправился к Макарычу.

Старик сидел на крыльце и курил трубку — вонючий самосад, от которого у Ильи всегда начинало першить в горле. Рядом на ступеньке стояла жестянка из-под чая, полная окурков.

— Не спится? — спросил Илья.

— Совсем. Третью ночь не сплю. Как Агафья померла, так и не сплю. Чую — она не просто от старости ушла.

— А от чего?

— От того же, от чего все. Море её выпило. Медленно. По капле. Ты думаешь, оно только тех берёт, кто в воду заходит? Нет. Оно всех пьёт, кто рядом живёт. Просто одних быстро, других долго. Баба Агафья долго держалась. Сильная была.

Он выпустил клуб дыма и проводил его взглядом.

— Дашка приедет, — сказал он вдруг.

— Даша? Внучка?

— Она. Я её с детства помню. Шустрая девка была, всё за бабкой хвостом ходила. А потом, как мать её померла, уехала. Сказала — не могу здесь. И я её понимаю.

— Она слышала голос?

— Нет. Агафья её уберегла. Какой-то обряд провела — я не знаю подробностей, бабка это в секрете держала. Но Дашку голос не трогал. Поэтому она и уехала — ей было проще, чем другим. Не держало ничего.

— Тогда зачем Агафья велела ей вернуться?

Макарыч долго молчал. Потом выбил трубку о перила и сказал:

— А это ты у неё самой спросишь. Если успеет до прилива.

Линия Келлера в тот день дала новый поворот.

После полудня, разбирая бумаги в доме Макарыча, Илья наткнулся на конверт, которого раньше не замечал, — он прилип к задней стенке металлической коробки и, видимо, выпал из общей пачки, когда коробку трясли. Маленький, из плотной бумаги, без марки и адреса — только надпись карандашом: «Вскрыть, если я не вернусь. В.К.».

— Вы это читали? — спросил Илья у Макарыча.

Старик прищурился:

— Нет. Я туда не лазил. Коробку закрыл и не трогал до тебя.

Илья аккуратно вскрыл конверт. Внутри лежал один лист, сложенный вчетверо. Текст был написан теми же синими чернилами, что и последние записи, но увереннее, спокойнее — видно, что автор не торопился.

«17 августа 1983 г.

Я, Келлер Виктор Иванович, старший научный сотрудник Института океанологии АН СССР, нахожусь в ясном уме и твёрдой памяти. Это не предсмертная записка, а попытка зафиксировать то, что я понял за последний месяц и что не вошло в официальный отчёт.

Объект М-17 не является живым организмом в привычном смысле. Это не животное, не растение, не колония микроорганизмов. Наиболее близкая аналогия — грибница, разветвлённая сеть, пронизывающая подводные карстовые пустоты на протяжении не менее нескольких километров. Но «грибница» функционирует не на химической энергии, а на энергии психической. Она реагирует на человеческие эмоции, а именно — на скорбь, тоску, память об умерших. Почему именно эти эмоции — не знаю. Возможно, они имеют какую-то особую частоту, резонирующую со структурой объекта.

Способность имитировать голоса умерших — не злонамеренная, а адаптивная. Объект использует её, чтобы привлечь жертву. Но это не хищник, который убивает ради пропитания. Это нечто вроде симбионта, который предлагает сделку: вечную память в обмен на жизненную силу. Те, кто «ушёл в море», не мертвы в обычном смысле. Их сознание, или некая его копия, продолжает существовать внутри объекта. Это можно назвать бессмертием определённого рода. Но цена — потеря индивидуальности, растворение в общем «хоре».

С военной точки зрения объект бесполезен. С научной — уникален. Но я больше не учёный. Я — человек, который слышит голос матери каждую ночь и знает, что она — не она. Я держусь. Но с каждым днём это всё труднее.

Если вы читаете это — значит, я не вернулся. Не пытайтесь повторить мой путь. Единственный способ борьбы — не давать объекту того, чем он питается. Уничтожайте вещи, связанные с умершими. Не храните фотографии. Не носите траур. Забывайте. Это единственное оружие. Слабое, но другого нет.

Если у вас есть силы — сделайте то, чего не смог я. Разорвите цикл. И простите меня. В. Келлер».

Илья перечитал письмо дважды. Потом сложил лист и убрал в карман.

— Что там? — спросил Макарыч.

— Инструкция. Келлер написал инструкцию.

— Дельная?

— Посмотрим. — Илья встал. — Когда хороним Агафью?

— Завтра. Если погода даст.

— После похорон — костёр. Соберём всё, что принесли люди, и сожжём. И вещи Агафьи тоже. Она бы не возражала.

Макарыч кивнул и снова раскурил трубку. Ветер с моря крепчал, неся с собой запах соли и йода, и где-то далеко, у горизонта, собирались тучи — низкие, тёмные, обещавшие шторм.

Глава 6. Счёт

Конверт с письмом Келлера ещё лежал в кармане, а Илья уже знал: то, что написано на этом листе, — не просто инструкция. Это завещание. Человек, понимавший природу объекта лучше всех, не смог довести дело до конца, но указал путь. Теперь выбор был за теми, кто остался.

Однако прежде чем действовать, нужно было понять всё до конца. Илья вернулся к бумагам Келлера — на этот раз не к дневнику, а к отдельной пачке, которую Макарыч поначалу принял за черновики отчёта. Это были не черновики. Это были протоколы допросов.

Келлер, оказывается, не просто говорил с местными. Он записывал каждое слово — методично, как учёный, но с отчаянием человека, который знает, что часы тикают. Бумаги были разного формата: где-то бланки с грифом, где-то просто тетрадные листы. Почерк местами скакал, но оставался разборчивым — Келлер явно торопился, но не позволял себе небрежности.

Первый протокол был датирован 24 июля 1983 года. Илья пробежал глазами шапку: «Опрос гражданки Мшаги Серафимы Ковалёвой (в девичестве — Сёминой), 1932 г.р.». Той самой Серафимы, что стояла вчера у дома Степана и сверлила его мутными глазами. Тогда ей был пятьдесят один год. Сейчас, стало быть, под семьдесят — а она всё та же, только лицо погрубело да глаза выцвели.

Келлер писал:

«Ковалёва С. сообщает, что «море забирает» с незапамятных времён. Цикл, по её словам, составляет 10–12 лет, но точной периодичности нет — всё зависит от «силы памяти». На вопрос, что она имеет в виду, ответила уклончиво: «Когда много плачут, оно просыпается раньше». Утверждает, что её бабушка, родившаяся в 1870-х, уже знала о циклах и вела им счёт. На вопрос, сколько всего человек пропало за известный ей период, ответила: «Душ сорок, может, больше. Только тех, кого помнят. А кого не помнят — тех и не считали».

Особый интерес представляет утверждение Ковалёвой о «метке». С её слов, море «метит» некоторых людей — как правило, тех, кто потерял близких и не может смириться с утратой. Такой человек становится «должником» и рано или поздно уходит в воду. Снять метку может только добровольная жертва другого человека — того, кто согласится уйти вместо помеченного. Ковалёва утверждает, что её собственная мать ушла в море в 1941 году, заслонив собой сына (брата Ковалёвой), помеченного после гибели отца на фронте. Брат жив до сих пор, проживает в Архангельске, в Мшагу не возвращается».

Илья отложил лист. Значит, Серафима знала о жертве не понаслышке. Её мать сделала то же, что и Вера — мать Насти. Ушла, чтобы спасти родного человека. Теперь понятно, почему Серафима так настаивала на выдаче Насти: для неё это было не убийство, а восстановление порядка. Мать Веры отдала себя за дочь. Теперь дочь должна отдать себя за посёлок. Всё честно.

Но Келлер, судя по следующей записи, так не считал.

«25 июля. Продолжение опроса Ковалёвой С. Спрашиваю: «Если жертва даёт только отсрочку, то почему вы считаете это решением?» Ответ: «А что ты предлагаешь? Море было здесь до нас и будет после нас. С ним нельзя договориться навсегда. Можно только откупиться на время. Как с арендой». Спрашиваю: «А если отказаться платить?» Молчит. Потом: «Тогда оно возьмёт всех. И тех, кто виноват, и тех, кто нет».

Вывод: местное население воспринимает объект М-17 как данность, с которой невозможно бороться в принципе. Это глубоко укоренённая модель поведения, передающаяся из поколения в поколение. Попытки изменить её вызовут сопротивление — возможно, более опасное, чем сам объект».

Илья перевернул страницу. Дальше шли ещё протоколы — он пробежал их по диагонали, выхватывая главное.

Старик по фамилии Горелов, 1900 года рождения, рассказал Келлеру, что в 1912 году море забрало сразу четверых. «Отец говорил: прилив тогда до домов дошёл, скотину унесло, лодки побило. А потом вода ушла, и с ней — четверо. Двое местных, двое пришлых, что с рыбацкой артелью приехали. Пришлых не искали даже — кому они нужны?»

Женщина по имени Марфа, вдовствующая с 1943 года, поведала, что её муж не пропал, а «ушёл сам». «Я его до ямы проводила. Он сказал: «Не плачь, там лучше». И ушёл. Через три дня вода поднялась и опустилась. Больше никого не забрало в тот год». Келлер приписал сбоку карандашом: «Добровольная жертва? Подтверждает гипотезу».

Были и другие — всего девять протоколов. Но один привлёк внимание Ильи особенно.

«28 июля 1983 г. Опрос Макарова Е.П., 1921 г.р., бывшего смотрителя маяка. Макаров — единственный из опрошенных, кто говорит об объекте не как о божестве или демоне, а как о «существовании иного порядка». Цитирую: «Оно не злое и не доброе. Оно как вода — может напоить, а может утопить. Всё зависит от того, как себя поведёшь. Наши деды с ним договаривались. А теперь разучились».

На вопрос, как именно договаривались, Макаров ответил: «Был ритуал. В новолуние перед большим приливом трое старших выходили к яме и бросали в воду дары: хлеб, соль, иногда овцу. И говорили слова. Какие слова — не скажу. Это не для протокола».

Я настаивал. Тогда Макаров сказал: «Слова простые. «Возьми память, оставь жизнь». И ещё имена — всех, кто ушёл в море за последний цикл. Если правильно назвать, оно насыщается и отступает. Если нет — требует большего».

Спрашиваю: почему же сейчас не проводят ритуал? Ответ: «Потому что имён больше нет. Тех, кто помнил имена, море и забрало. А я последний, кто хоть что-то знаю. Но я старый, и память у меня дырявая. Так что, парень, если ты учёный — придумай что-нибудь другое. Потому что следующего прилива нам не пережить»».

Илья закрыл папку. Руки дрожали — но уже не от холода. От возбуждения. Потому что пазл наконец складывался.

Сущность питалась памятью. Ритуал с именами кормил её — но контролируемо, дозированно, как кормят дикого зверя, чтобы не нападал на людей. А когда ритуал прекратили — потому что не осталось тех, кто помнил все имена, — море начало брать само. Каждые десять-двенадцать лет, по три человека. Тех, чья память о мёртвых была самой сильной.

И Макаров-старший, прадед Макарыча, знал этот ритуал. И Келлеру рассказал — в общих чертах, но достаточно, чтобы тот понял. А Келлер...

Келлер попробовал сделать что-то иное. Что — Илья пока не знал, но намеревался выяснить.

Он поднял глаза. За окном, в сером свете дня, что-то изменилось. Улица, ещё утром полная людей, спешивших к дому Агафьи, теперь опустела. И в этой пустоте чувствовалось напряжение — как в воздухе перед грозой.

Илья вышел на крыльцо. И сразу увидел: толпа. Снова. Но на этот раз она не стояла — она двигалась. И в центре толпы, с руками, скрученными за спиной, шла Настя.

Она не кричала. Не вырывалась. Шла, опустив голову, и только по побелевшим костяшкам пальцев было видно, как сильно она сжимает кулаки. Рядом шагал Павел, держа её за локоть. С другой стороны — Серафима, что-то говорившая ей тихо, почти вкрадчиво. Остальные молча сопровождали, как конвой.

Илья бросился к ним.

— Отпустите её! — крикнул он, продираясь сквозь толпу. — Павел, ты же обещал — один день!

— День прошёл, — бросил Павел не оборачиваясь. — Костёр твой не помог. Море не успокоилось. Вода в колодцах ещё поднялась. Так что мы по-своему теперь.

— Я не давал согласия! — Илья схватил его за плечо, разворачивая к себе. — Вы не имеете права...

— Права? — Павел сбросил его руку резким движением. — Ты про права говорить будешь, когда прилив дома снесёт? Ты здесь четвёртый день. А мы здесь всю жизнь. И мы знаем, что работает. А твои бумажки...

— Мои «бумажки», — перебил Илья, сжимая в кармане письмо Келлера, — говорят, что жертва даст вам от силы десять лет. А потом море снова проснётся и потребует следующую. И следующую. Вы просто тянете время.

— Правильно, — тихо сказала Серафима. — Тянем. Как наши бабки тянули, как матери тянули, как мы тянем. А ты предлагаешь что? Сжечь вещи и надеяться на чудо? Чудес не бывает. Бывает только плата.

— Дайте мне ещё два дня.

— Нет, — отрезал Павел. — Прилив через четыре дня. Мы не можем рисковать. Настя пойдёт к яме завтра утром. Добровольно. — Он покосился на девушку. — Ты же добровольно, Настя? Как мать?

Настя подняла глаза. Они были сухими и очень спокойными.

— Добровольно, — сказала она. — Если вы оставите Илью в покое.

— Договорились.

Толпа двинулась дальше. Илья попытался идти следом, но двое мужиков — он не знал их имён — встали стеной.

— Не лезь, приезжий. Хуже будет.

Он смотрел, как Настю уводят к старому сараю у пирса — тому самому, где когда-то хранили сети, а теперь держали всякий хлам. Дверь сарая была тяжёлой, обитой железом. Павел собственноручно запер её на висячий замок — большой, ржавый, но крепкий. Ключ повесил на гвоздь, вбитый в косяк снаружи. Илья запомнил это машинально, ещё не зная, что эта деталь позже окажется решающей.

— До завтра, Настя, — сказал Павел громко, почти ласково. — Отдыхай.

Из сарая не донеслось ни звука.

Толпа разошлась. У сарая остался один человек — Степан. Он сел на перевёрнутую лодку у пирса, положил на колени багор и закурил. Лицо у него было мрачнее тучи.

— Ты тоже с ними? — спросил Илья, подходя.

— Я с ней. Потому и сижу здесь. Чтобы ночью никто дурить не полез. — Степан сплюнул в песок. — Если Павел её сейчас пальцем тронет, я за себя не отвечаю.

— А завтра? Завтра ты её к яме поведёшь?

Степан долго молчал. Потом тихо сказал:

— Завтра будет завтра. А пока ступай, парень. Не мозоль глаза людям. От тебя сейчас только вред.

Илья вернулся к себе, но не находил места. Ходил из угла в угол, перебирал в голове варианты. Прорваться к сараю? Бессмысленно — Степан мужик крепкий, да и Павел наверняка выставил дозорных. Подкупить? Чем? Денег у него было — тысяча рублей в кармане и ещё две на карте, но карта здесь бесполезна.

Он думал о том, что Настя сейчас сидит в темноте, в холодном сарае, и слушает голос, который, возможно, уже звучит в её голове. О том, что завтра на рассвете за ней придут. О том, что Келлер пытался что-то сделать — и не смог. И о том, что у него, Ильи, осталась всего одна ночь.

Но он не знал, что помощь уже здесь.

Даша Ковалёва приехала последним автобусом — тем самым, что ходил от Усть-Кеми раз в сутки, и то если погода позволяла. Погода позволила — едва-едва. Автобус полз по разбитой дороге, буксуя в глине, и прибыл в Мшагу затемно, когда посёлок уже затих.

Водитель — тот самый угрюмый мужик в фуфайке, что привозил Илью, — высадил её у покосившегося указателя и сразу развернулся. «Обратно послезавтра, если размыв не усилится. А скорее всего — никак». Даша кивнула, подхватила рюкзак и пошла по улице, поёживаясь от сырого ветра.

Она не была здесь двенадцать лет.

Посёлок изменился — или ей так казалось. Дома стали ниже, серее. Улица заросла травой. Фонари, которые она помнила с детства, не горели. Но запах — запах остался прежним: соль, йод, водоросли и что-то сладковато-гнилостное, что она всегда ассоциировала с бабкиным домом. Бабка Агафья. Которая теперь мертва.

Телеграмму она получила вчера. «Бабушка умерла похороны вторник приезжай». Коротко, сухо, без подробностей. Но Даша поняла сразу: бабка не просто умерла. Что-то случилось. Потому что бабка говорила когда-то: «Я тебя позову, когда время придёт. Не раньше. И ты тогда приезжай, как бы далеко ни была». Она повторила это при их последней встрече, когда Даша, ещё подростком, уезжала из Мшаги. Та сказала: «Да, баб. Я приеду». И забыла на двенадцать лет. А теперь бабка позвала. И Даша бросила всё — работу, съёмную квартиру, парня, с которым только начинало что-то получаться, — и села в поезд в тот же вечер.

Она шла по тёмной улице и повторяла про себя бабкины присказки — те, что сами всплывали из памяти, как только она ступила на эту землю. «Море гладко — жди припадка». «Тихая вода — к беде, громкая — к ветру». Она бормотала их, как молитву, и не замечала, что губы шевелятся. Привычка, от которой она, казалось, избавилась в городе, вернулась мгновенно — как будто и не уезжала.

Дом бабки она нашла бы с закрытыми глазами — крайний у леса, с почерневшей дранкой и низким штaketником. В окнах горел свет. У крыльца стояли люди — несколько старух, кого-то она смутно узнала, кого-то нет. Они замолчали при виде неё.

— Дашка? — ахнула одна, высокая, сгорбленная. — Ты? А мы уж думали — не приедешь.

— Приехала. — Даша поставила рюкзак на землю. — Где бабушка?

— В доме. Завтра хороним. Ты проходи, прощайся.

Она вошла. В доме пахло воском и травами — так же, как в детстве. Бабка лежала на лавке, прикрытая скатертью, и лицо её было спокойным, почти счастливым. Даша постояла минуту, глядя на эти сложенные руки, на кипарисовый крестик и пучок сухой полыни, перевязанный красной ниткой — оберег, который бабка не снимала до последнего дня. «Крест для души, оберег от воды». Даша помнила эту присказку с детства. И только теперь, кажется, начала понимать, что она значит.

— Прости, что не приезжала, — прошептала она. — Я...

Договорить не получилось. Слёзы потекли сами — не рыдания, просто вода из глаз, горячая на холодном ветру, задувавшем в щели. Она смахнула их и вышла на крыльцо.

И тогда она увидела толпу.

Люди шли со стороны посёлка — человек десять-двенадцать, в основном старшие. Они вели девушку, и девушка эта шла, опустив голову, с руками, скрученными за спиной. Даша сначала не поняла, что происходит. А когда поняла — внутри что-то оборвалось. Она узнала Настю. Дочь старосты. Они были почти ровесницами, вместе бегали на маяк в детстве, пока Даша не уехала. И то, что Настя теперь — пленница, было неправильно на каком-то базовом, животном уровне.

Она отступила в тень у забора. Никто её не заметил. Старухи ушли в дом, люди на улице были заняты своим — они довели Настю до сарая, заперли дверь, повесили ключ на

гвоздь. Даша видела это отчётливо. Видела, как Павел — она узнала его, он изменился, но не настолько, — повесил замок, как повесил ключ на косяк. Видела, как Степан сел на перевёрнутую лодку и закурил.

Она стояла в тени и ждала.

Час. Другой. Холод пробирал до костей, но она не уходила. Степан сидел, курил, иногда вставал, обходил сарай кругом и садился снова. В окнах домов гас свет. Посёлок засыпал.

Даша знала, что надо делать. Бабка говорила когда-то: «Кого вода помнит, того не отпустит. Но если человек поможет — вода отступит». Она тогда не понимала, о чём речь. Теперь понимала.

Около полуночи Степан поднялся и ушёл — видимо, в дом, отогреться. На смену ему никто не пришёл. Сарай остался без охраны.

Даша выскользнула из тени и быстро, почти бесшумно двинулась к сараю. Ключ висел на гвозде. Она сняла его, вставила в скважину, повернула — замок открылся с тихим щелчком. Настя, сидевшая в углу на куче старых сетей, вскинула голову. Глаза у неё были огромные и очень светлые в темноте.

— Тихо, — прошептала Даша. — Не шуми.

— Ты? — Настя взгляделась. — Даша? Ты откуда?

— Потом. Сейчас — уходи. К маяку. Туда никто не пойдёт. Жди меня, я приду, как смогу.

— А ты?

— У меня ещё дела. — Даша сунула ей в руку фонарь — маленький, туристический, который всегда носила в рюкзаке. — Беги. И не оглядывайся.

Настя секунду колебалась. Потом обняла Дашу — быстро, крепко, — и растворилась в темноте.

Даша закрыла сарай, повесила замок обратно на пробой, ключ — на гвоздь. Всё как было. И пошла к дому, где, как ей сказали старухи, поселили приезжего журналиста.

Илья открыл дверь на третий стук — тихий, но настойчивый. На пороге стояла девушка, которую он никогда не видел. Светлые волосы, выбившиеся из-под капюшона. Потёртая штормовка. Глаза — серые, очень спокойные и очень уставшие.

— Вы журналист? — спросила она.

— Да. А вы...

— Даша. Внучка Агафьи.

Илья отступил, пропуская её в дом. Она вошла, но садиться не стала. Прислонилась к дверному косяку и сказала:

— Настя на маяке. Я её выпустила. Пока никто не знает, что я здесь. Завтра похороны бабки, а после — мне понадобится ваша помощь.

Илья смотрел на неё и не знал, что сказать. Всё, что он планировал на эту ночь, только что перечеркнула эта девушка — незнакомая, уставшая и, кажется, очень решительная.

— Зачем вы это сделали? — спросил он наконец.

Даша пожала плечами:

— Бабка говорила: «Не проси у моря — само даст, когда время выйдет». А ещё: «Человек человеку — берег». — Она впервые улыбнулась — коротко, кривовато, но тепло. — Я не знаю, что здесь происходит. Но знаю, что Настя — хороший человек. А хороших людей не отдадут воде. Ни за что.

Она достала из кармана фонарь, второй — такой же, как тот, что отдала Насте, и положила на стол.

— Завтра поговорим. А сейчас мне надо к бабушке. Она ждёт.

И ушла. Илья остался стоять у стола, глядя на фонарь, и в голове у него крутилась одна мысль: «Человек человеку — берег». Он не знал, что это значит. Но чувствовал, что сегодня ночью что-то изменилось. Что-то важное. Что-то, чего море, при всей его силе, не могло предвидеть.

Он подошёл к окну и посмотрел в сторону маяка. Там, на самой верхушке, едва заметно теплился огонёк — не маячный, слабый, жёлтый. Фонарь Насти.

Значит, она добралась.

Глава 7. Пленники

Мишага, 28 июля 1983 года

Дождь зарядил с утра и не прекращался до вечера — мелкий, косой, он заливал стёкла и превращал улицы в глиняное месиво. Дорогу на Усть-Кемь размывло окончательно. В посёлке не осталось ни одной пары сухих сапог, кроме военных: те привезли с собой прорезиненные бахилы, блестящие и чёрные, как спины жуков. Местные ходили босиком или в опорках, не обращая внимания на холод. Привыкли.

Келлер сидел у окна в доме, который военные реквизировали под казарму, и смотрел на серую пелену дождя. В комнате, кроме него, находились двое: матрос Леднёв, молодой парень лет двадцати с простодушным рязанским лицом, и капитан Новиков. Матрос чистил автомат — методично, без нужды, просто чтобы занять руки. Новиков пил чай из железной кружки и молчал.

Молчание длилось уже третий день — с тех пор, как Григорьев ушёл в море.

— Почему вы не пытались их остановить? — спросил Келлер, не оборачиваясь.

Новиков поставил кружку на стол. Звук получился резкий, как выстрел.

— Потому что приказа не было. Мне приказано обеспечить режим изоляции. Не спасать ваших людей.

— Вы могли хотя бы выставить часовых.

— Я выставил. Григорьев вышел в нужник и не вернулся. Часовой ничего не заметил. Хотите — допросите его сами. Только что это даст?

Келлер промолчал. Он знал, что часовой не виноват. Он сам видел, как Симонов уходил три дня назад: тот шёл через улицу с открытыми глазами, улыбаясь, и даже не заметил Келлера, стоявшего у крыльца. Оклик не помог. Прикосновение — тоже. Симонов просто прошёл мимо, как человек, который уже находится где-то в другом месте, а здесь оставил только оболочку.

Новиков отхлебнул чай и вдруг заговорил — впервые за всё время не по службе, не по делу:

— Я в шестьдесят первом служил на Северном флоте. Гидрографом. Мы тогда в этот район заходили — карты уточняли. И наткнулись на странную аномалию. Эхолот показывал пустоту там, где её быть не должно. Пещера. Здоровенная, куполообразная, на сорока метрах. Командир приказал спустить водолаза. Водолаз спустился, вернулся через полчаса и доложил: пещера есть, но вход в неё какой-то странный — слишком ровный для естественного. Будто кто-то пробил.

— Кто?

— Вот и я спросил: кто? А он говорит: не знаю, только там на стенах какие-то знаки. И голоса. Понимаешь, товарищ учёный? Голоса.

Келлер повернулся от окна. Новиков смотрел в кружку, но явно не видел чая. Он был где-то там, двадцать два года назад, на палубе гидрографического судна, впервые столкнувшись с тем, что не мог объяснить.

— Мы тогда ничего не поняли. Нанесли аномалию на карту, дали номер — М-17, и забыли. А через год в этом районе пропало рыболовецкое судно. Четверо рыбаков. Спасатели всё перерыли — ни обломков, ни тел. Лодку нашли через неделю, пустую. И тогда кто-то в штабе вспомнил про М-17. Так началась программа «Глубина».

— Какая программа?

— Закрытая. Я в ней не участвовал, но слышал. — Новиков покрутил кружку в пальцах. — В шестьдесят третьем сюда направили группу из трёх человек — водолазов-разведчиков. С задачей проникнуть в пещеру и взять образцы. Группа не вернулась. Через месяц послали вторую — уже с охраной, с оружием. Из второй вернулся один. Он был не в себе, нёс что-то

про «голоса мёртвых» и «яму, в которой лежат лица». Его списали по психиатрии. После этого программу закрыли. Объект законсервировали. А теперь вы здесь. И я вместе с вами.

— Почему вы раньше не сказали?

— А что бы это изменило? — Новиков поднял глаза. — Вы бы поверили? Вы, учёный-океанолог, коммунист, материалист? Вы бы посмеялись и полезли в воду. Что вы, собственно, и сделали.

Келлер не ответил. Он действительно не поверил бы. Но сейчас, после гибели Григорьева и сумасшествия Симонова, после того, как он сам слышал голос матери, — теперь он был готов поверить во что угодно.

— Мне нужно поговорить с местными, — сказал он, поднимаясь. — С теми, кто живёт здесь давно. У вас есть список?

— Список? — Новиков усмехнулся. — Тут не список нужен, а бутылка. Местные с чужаками не говорят. Тем более с военными. Но если хотите — попробуйте. Вон, у Макарова спросите. Он тут вроде за главного.

Макаров Егор Петрович, 1921 года рождения, бывший смотритель маяка, жил в доме на краю посёлка. Дом был старый, но крепкий, с резными наличниками, потемневшими от времени и соли. Келлер постучал. Дверь открыли не сразу — сначала долго всматривались в цель, потом загремел засов.

Макаров оказался сухим, жилистым стариком с выцветшими глазами и татуировкой якоря на левом предплечье. Он не пригласил Келлера в дом — вышел на крыльцо, сел на лавку и закурил. Трубка у него была старая, пеньковая, обкуренная до черноты.

— Ну, спрашивай, учёный, — сказал он вместо приветствия.

Келлер сел рядом. Достал блокнот, но не открыл — понимал, что при блокноте разговор не пойдёт.

— Что здесь происходит? На самом деле?

Макаров выпустил клуб дыма.

— А ты как думаешь?

— Я думаю, что в подводной пещере находится нечто, способное имитировать человеческую речь. Возможно, это форма жизни, неизвестная науке. Возможно — геофизическая аномалия, воздействующая на мозг.

— Красиво излагаешь. — Старик усмехнулся без веселья. — Только всё не так. Это не жизнь. Это не аномалия. Это память.

— Что?

— Море здесь помнит. Всё, что в него попало, — помнит. Каждого утопленника, каждую жертву, каждую слезу, которую бабы пролили на берегу. Оно вбирает это в себя и не отпускает. И чем больше помнишь ты, тем сильнее оно помнит тебя.

— Это метафора?

— Нет. — Макаров посмотрел Келлеру прямо в глаза. — Это факт. Я здесь родился и здесь помру. Мой отец был смотрителем маяка. Его отец — тоже. Мы всегда здесь жили. И всегда знали: море говорит. Иногда — голосами волн. Иногда — голосами мёртвых. А раз в десять-двенадцать лет оно просыпается и требует своё. И тогда кто-то должен уйти.

— Уйти?

— В воду. Добровольно. Так было всегда. Моя прабабка ушла. Мой дядька ушёл. Соседка, Марфа, проводила мужа — он ушёл вместо неё, потому что у неё дети были. Это не убийство, учёный. Это договор.

— С кем договор?

— С ним. — Макаров мотнул головой в сторону моря. — Мы не знаем, как его зовут. Дед называл «Глубинным», бабка — «Тем, кто под водой». В церковных книгах, что до революции велись, его записывали как «морского духа», но это глупость. Оно не дух. Оно древнее. Оно было здесь, когда ещё людей не было. И будет, когда нас не станет. А мы просто живём рядом и платим дань. Как аренду.

— Дань — это человеческая жизнь?

— Дань — это память. Жизнь тут вторична. Море забирает тех, кто слишком много помнит. Потому что такая память — как маяк. Она светит и привлекает. А когда человек уходит в воду, его память остаётся там навсегда. И море сыто. До следующего раза.

Келлер молчал. Он пытался перевести услышанное на язык науки — и не мог. Инфразвук? Галлюцинации? Массовый психоз, растянутый на поколения? Всё это были объяснения, но ни одно не покрывало фактов полностью. А факты были таковы: люди пропадали. Голоса звучали. И те, кто слышал их, менялись безвозвратно.

— Вы говорите, что море помнит, — сказал он наконец. — Но что именно? И как?

— А вот этого никто не знает. — Макаров выбил трубку о перила. — Мой отец говорил: «Под маяком есть проход. Там, глубоко, лежат камни, которых не должно быть. И на этих камнях написано». Я сам не видел — боялся. Но отец видел.

— Что написано?

— Не знаю. Он не говорил. Только сказал: «Тот, кто прочтёт, уже не вернётся». И добавил: «Это не для нас писано. Это для тех, кто был до нас».

Келлер почувствовал, как холодок пробежал по спине — не от ветра, а от внезапной догадки.

— Вы хотите сказать, что под водой есть какие-то сооружения? Руины?

— Я ничего не хочу сказать. — Макаров поднялся. — Я старый человек и хочу умереть в своей постели, а не в воде. Поэтому я тебе, учёный, дам совет. Не лезь туда. Уезжай, пока можешь. А если не можешь — тогда слушай.

— Что слушать?

— Да не море. Людей слушай. Они тебе всё уже рассказали, ты просто не понял.

Он ушёл в дом и закрыл дверь. Келлер остался на крыльце под моросящим дождём и думал о том, что старик сказал больше, чем, возможно, хотел. «Камни, которых не должно быть». «Писано для тех, кто был до нас». Если под водой действительно находились какие-то структуры — не природные, а рукотворные, — это меняло всё. Это означало, что объект М-17 был не просто формой жизни. Он был артефактом. Или стражем. Или тем и другим одновременно.

Дождь усилился. Келлер поднял воротник и пошёл к дому, где квартировали военные. По дороге он заметил Серафиму Ковалёву — та стояла у колодца с ведром и смотрела на него не мигая.

— Что вы знаете о камнях? — спросил он напрямик, подходя.

Она не удивилась вопросу:

— А ты уже говорил с Макаровым?

— Говорил. Он сказал — под водой есть камни с надписями.

— Есть. Моя бабка их видела. — Серафима поставила ведро на сруб. — Она в молодости ходила к яме с матерью. Спускалась. Говорила — там целый зал, и стены гладкие, как стекло. И на стенах — буквы. Но не наши. Старые. Древние. И ещё — лица. Много лиц, вдавленных в камень, как будто кто-то вдавил их туда живыми.

— Она читала эти буквы?

— Нет. Мать запретила. Сказала: «Прочтёшь — и оно тебя запомнит. А запомнит — заберёт». Бабка была послушная. Не стала читать. А я бы, может, и прочла. Да меня не пустили.

— Она усмехнулась, показав щербатые зубы. — А ты, учёный, прочтёшь. По глазам вижу. Только назад не приноси. Нам тут чужой памяти не надо.

Она подхватила ведро и пошла к дому, оставив Келлера под дождём. Он стоял и чувствовал, как внутри закипает то, что он не испытывал с аспирантских лет: холодное, жгучее любопытство, перед которым отступали и страх, и здравый смысл.

Ночью он не спал. Сидел за столом при свете керосиновой лампы и перечитывал свои записи. Симонов. Григорьев. Макаров. Серафима. Показания матроса Леднёва, который не слышал голосов — потому что у него не было умерших близких. Всё сходилось.

Объект М-17 не был организмом в привычном смысле. Он был — Келлер с трудом подбирал слова даже в собственных мыслях — хранилищем. Архивом. Коллекцией. И коллекционировал он не вещи, а воспоминания. Человеческую память, отделённую от человека.

Те, кто уходил в воду, не умирали полностью. Их сознание, или некая его копия, оставалось внутри объекта — как экспонат в музее, как строка в бесконечной книге. Отсюда и голоса: это были не имитации. Это были подлинные голоса тех, кого море забрало. Они говорили с теми, кого любили при жизни, — потому что любовь была самой сильной формой памяти.

Но зачем? В этом был главный вопрос. Зачем неведомым строителям понадобилось создавать — или не создавать, а привлекать, как ловушка привлекает добычу, — место, где память мёртвых хранилась бы вечно?

Келлер не знал. Но у него появилась догадка — смутная, пока ещё не оформленная в слова. Если память можно хранить, значит, её можно и забрать. А если её можно забрать, значит, ею можно и накормить. И если накормить достаточно — может быть, объект насытится и отступит.

Не жертва. Не доброволец. А что-то другое.

Он записал в блокноте всего три слова:

«Кормить не людьми».

И подчеркнул дважды.

Утром пришёл Новиков. Он выглядел невыспавшимся и злым.

— Рация заработала. Шторм ослабевает. Мне приказали оставаться на месте до особого распоряжения. Вертолёт будет через двое суток.

— Двое суток, — повторил Келлер. — Это много или мало?

— Смотря для чего. — Новиков сел на табурет, скрипнув кожаной портупеей. — Для эвакуации — в самый раз. А для того, чтобы ещё кто-то пропал, — слишком много. У вас есть план, товарищ учёный?

Келлер посмотрел на свой блокнот, на три слова, подчеркнутых жирной чертой.

— Кажется, есть. Но он вам не понравится.

— Выкладывайте.

— Я хочу спуститься в яму. Один. Без водолазов, без оружия.

— Вы сумасшедший.

— Возможно. Но послушайте: объект питается памятью. Он не нападает — он приглашает. И я хочу принять приглашение. Не для того, чтобы остаться, — чтобы понять, можно ли дать ему что-то взамен.

— Что взамен?

— Память. Но не мою. И не вашу. — Келлер помедлил. — Есть одна идея. Мне нужно только туда попасть и вернуться. И если я вернусь — возможно, мы сумеем прекратить это навсегда.

Новиков долго смотрел на него. Потом встал, подошёл к двери и сказал, не оборачиваясь:

— Двое суток, Келлер. Через двое суток я улетаю. И если вы к тому времени не вернётесь — я доложу, что вы пропали без вести. Поняли?

— Понял.

Когда капитан ушёл, Келлер открыл блокнот и написал ещё одну фразу:

«Если я прав — у этого места есть хозяин. И хозяин этот не всемогущ. Иначе зачем ему коллекция?»

За окном шумел дождь. Где-то далеко, у маяка, кричала чайка — или не чайка, а что-то, имитирующее её крик. Келлер закрыл блокнот, надел плащ и вышел под серое небо. Ему оставалось двое суток. И он знал, что этого либо хватит, либо нет. Третьего варианта море не предлагало.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.